

КЛАССНАЯ КЛАССИКА



Николай Носов



# ТАЙНА НА ДНЕ КОЛОДЦА



Machaon

# Николай Николаевич Носов

## Тайна на дне колодца

### Серия «Классная классика»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=48611638](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48611638)*

*Тайна на дне колодца. повесть: Махаон, Азбука-Аттикус; Москва;*

*2019*

*ISBN 978-5-389-17675-1*

### **Аннотация**

Книга «Тайна на дне колодца» отличается от других, вышедших из-под пера замечательного детского писателя Николая Носова. В ней он рассказывает о своём детстве и о событиях, которые ему пришлось пережить. По словам автора, герой повести – он сам. «Так можно сказать, но это будет верно только отчасти. Когда я писал, мне хотелось, чтобы читатели увидели в моём герое не только меня, но и самих себя».

Воспоминания о прожитом вылились в увлекательную и познавательную историю.

# Содержание

«Я хотел изобразить детство...»	8
Часть первая	12
К солнцу	14
Великан	23
Непоправимая беда	36
Зачем я это сделал?	46
Приговорённый к казни	57
Счастье	67
Преступления и наказания	75
Волшебные сказки	86
Неравноправие	97
Выдержал экзамен	109
Я узнаю о тайне	117
Разочарование	125
Первые двойки	134
Исключительный человек	144
На дне	157
Конец ознакомительного фрагмента.	162

# Николай Николаевич Носов

## Тайна на дне колодца

### *Повесть*

© Носов. Текст, художественные образы, иллюстрации,  
2019

© Оформление, вступительная статья. ООО «Издатель-  
ская Группа «Азбука-Аттикус», 2019

\* \* \*

# КЛАССНАЯ КЛАССИКА





Николай Носов

ТАЙНА  
НА ДНЕ КОЛОДЦА



*Повестъ*



Художник  
*Владимир Канивец*

Издание И.П.Носова

  
Москва  
«Махаон»

## «Я хотел изобразить детство...»

Николай Николаевич Носов (1908–1976) родился в посёлке Ирпень неподалёку от Киева. Мальчик рос любознательным и смыслёным не по годам. Читать он научился быстрее старшего брата – так велика была тяга к разгадке тайны, каким образом буквы складываются в слова, а слова – в предложения. С этого момента будущий писатель не мог остановиться и «прочитывал отдельные слова, где бы они ни попадались мне: в книжке, в газете, на коробках с чаем, кофе или конфетами, на бутылках с уксусом или квасом, на вывесках магазинов». Он радовался этим словам, «как встрече с добрыми старыми друзьями». Так началась дружба маленького Коли с книгой – оказалось, что кроме людей существуют ещё добрые волшебники, короли и королевы, индейцы и эльфы.

Носов говорил, что детство у него было счастливым – когда хотелось бегать на свежем воздухе или снова и снова перечитывать сказки, его никто не заставлял сидеть в душной комнате. Если Коля вдруг воображал себя индейцем, то забывал обо всём на свете – о школе и сне, ведь индейцу обязательно нужен вигвам: «А где его взять? Пришлось таскать из Ботанического сада ореховые прутья, потом эти прутья сплести так, чтоб получился каркас, который следовало обшить бизоньими шкурами, а бизоньи шкуры надо было



делать из старых газет, окрашивая их в коричневый цвет». И какой же настоящий индеец без штанов с бахромой и барабана? В конце концов маленький Коля сам скроил и сшил штаны из старого мешка, «головной убор соорудил из пестушиных, гусиных и индюшачьих перьев, которые собирал везде, где они только попадались». Получился у него и самый настоящий тамтам – индейский барабан, для которого Коля целый месяц «вымачивал в воде кроличью шкурку, чтоб из неё можно было повыдергать шерсть и получить кожу для барабана».

Таковыми же, как маленький Носов, были и дети в его произведениях – герои рассказа «Мишкина каша» (1938), повести «Весёлая семейка» (1949) и других сочинений писателя. Дети в них шалят, путешествуют. Они могут быть кем угодно. Захотят – изобретателями, захотят – первооткрывателями. Сооружая инкубатор, герои «Весёлой семейки» забывают об уроках и сне, дежурят по очереди, ожидая появления цыплят. «Такой уж у нас с Мишкой характер – нам обязательно нужно какое-нибудь занятие», – признаётся Коля.

Отрочество писателя пришлось на переломное время – Первую мировую, а потом – Гражданскую войну. Носову довелось работать на заводе, косить траву и воспитывать маленьких брата и сестру. Но в свободное время Коля не сидел без дела. Он учился игре на скрипке и мандолине, с друзьями проводил химические опыты на чердаке. Вовсе не помышляя о том, чтобы стать писателем, вместе с товарищами

«издавал» рукописный журнал под интригующим названием «Икс», куда помещались фантастические истории про подводных людей или, например, «повесть о человеке, который обладал способностью принимать облик других людей и, ловко выдавая себя за них, обдeldывал всякие свои делишки». Позже Коля увлёкся фотографией и даже самостоятельно собрал фотоаппарат.

В 1927 году Носов поступил в Киевский художественный институт, откуда через два года перевёлся в Московский институт кинематографии. После окончания работал режиссёром, а писать для детей стал совершенно случайно: «Случилось же это тогда, когда я стал отцом и увидел детство не в тумане далёкого прошлого (с чем, казалось, уже распротился окончательно и навсегда), а в непосредственной близости. Признаюсь, волшебная эта страна удивила меня, а творчество, как сказал один умный художник, начинается с удивления. Я увидел в ребёнке то, чего не замечал раньше и чего, мне казалось, не замечали и другие. Отсюда – желание показать увиденное мною другим, желание писать о детях и для детей». С 1938 года рассказы Носова выходили на страницах журнала «Мурзилка». Постепенно писатель понял, что лучшая работа – сочинять для детей. Так появились всем известные романы и повести «Приключения Незнайки и его друзей» (1953), «Незнайка в Солнечном городе» (1958), «Незнайка на Луне» (1965) и «Витя Малеев в школе и дома» (1951).

В повести и рассказы некоторые приключения перекочевали прямым из жизни писателя. Многие из них мы найдём в произведении под названием «Тайна на дне колодца» (1978). Эта книга отличается от других историй, вышедших из-под пера Носова, ведь в ней он рассказывает о своём детстве и о событиях, которые ему пришлось пережить. Революция, Гражданская война, голод, тиф – много выпало на долю писателя и его семьи.

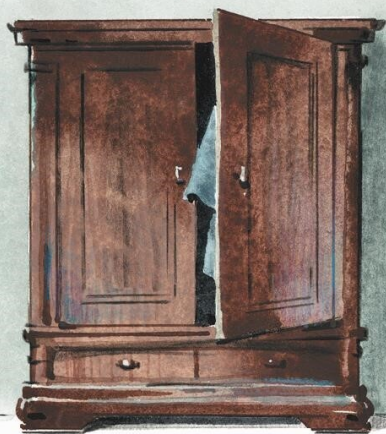
На вопрос, почему Носов решил сочинить повесть о своём детстве, он отвечал: «Герой моих повестей – я сам. Так можно сказать, но это будет верно только отчасти. Когда я писал, мне хотелось, чтобы читатели увидели в моём герое не только меня, но и самих себя». У каждого в детстве была какая-то тайна. Вот и Коля с братом непременно решили узнать, какую тайну хранит колодец неподалёку от их дома. Может быть, золото и другие сокровища?

Соединить впечатления от прожитых минут, дней, месяцев так, чтобы они сложились в увлекательную историю о детстве, – настоящее искусство. У Носова это получилось мастерски.

*Наталья Дровалёва*

# Часть первая





## К солнцу

Взрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, каким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что вещи существуют, что вещи живут, и относятся к вещам как к живым существам.

Помню себя маленьким – четырёхлетним, может быть, трёхлетним. Вижу себя в окружении вещей, которые не только будят во мне какие-то мысли, но и действуют на мои чувства. Вот сутулый, с выдвинутыми вперед плечами, огромный, чуть ли не до потолка ростом, шкаф. Он стоит, подпирая своей широкой, плоской спиной стену, погружившись в какую-то свою глубокую, бесконечную думу. От него не много добьёшься слов. Если он и произнесёт что-нибудь на своём скрипучем, непонятном для меня языке, то лишь когда открывают дверцы, чтоб достать что-нибудь из одежды, хранящейся в его недрах.

По сравнению со шкафом буфет более легкомысленное и франтоватое существо. У него и цвет не такой серо-бурый, а с красноватым отливом. Верхние дверцы на его груди украшены деревянной резьбой, изображающей битых уток, подвешенных вниз головой. На нижних дверцах такие же рез-

ные изображения корзин, наполненных виноградными гроздьями. У него какая-то несуразная маленькая головка в виде полукруга с вырезанным по краям хитросплетением виноградных листьев, а на плечах торчат выточенные из дерева шпилеобразные фигуры, напоминающие собой что-то вроде двух огромных шахматных ферзей. Этот чудак буфет, наверно, воображает, что очень красиво, когда на плечах две такие нелепые штуковины.

Во всяком случае, он не такой задумчивый и не такой молчаливый, как шкаф. На его полках хранятся сахар, печенье, варенье в стеклянных банках (иногда даже конфеты!), соль, масло, хрен, перец, горчица, чай, кофе, какао, консервы, чашки, блюда, стаканы, графины, бокалы, кофейная мельница (её можно вертеть сколько угодно, когда никто не видит). В ящиках, которые выдвигаются из живота, лежат ложки, вилки, ножи, салфетки и другие разные вещи. На нижних полках – стопы тарелок, розеток, соусницы, селёдочницы, суповые миски, огромные блюда, медные подсвечники, чугунная ступка – в общем, вещи всё нужные, которые постоянно приходится доставать, отчего буфет то и дело говорливо скрипит, шипит, сипит, визжит, хрипит, крикает всеми своими дверцами и ящиками.

Словом, он существо хотя и нелепое, но вполне компанейское, чего не скажешь о креслах... Вот уж!.. В своих белых полотняных чехлах, из-под которых, точно из-под платьев, торчат только кончики ножек, они похожи на каких-то чо-

порных пожилых тёток. Аккуратно протянув согнутые в локтях руки вдоль бёдер с таким расчётом, чтоб была соблюдена строгая параллельность, они чинно сидят по углам комнаты, полуобернувшись друг к дружке, и молчат. Молчат напряжённо, упрямо, сосредоточенно. Чувствуется, что им до за-резу хочется поговорить, посудачить о том о сём, да неохота показывать, что их могут интересовать такие пустяки, как праздные разговоры. Мне кажется, что, как только я ухо-жу из комнаты, они сейчас же принимаются болтать о вся-кой всячине: их словно прорывает от длительного молчания. Но стоит мне возвратиться – и они тотчас прикусывают язык, ручки тотчас – вдоль бёдер, и опять тишина, будто никакого разговора и не было.





В их обществе я чувствую себя лишним, ненужным, стесняющим: чем-то вроде гвоздя в сапоге. Ни на минуту не оставляет мысль, что эти старые ханжи только и ждут, чтоб я поскорей выкатился за дверь и не мешал им изливать друг перед дружкой душу или перемывать косточки своим знакомым.

Диван, который стоит вдоль стены, тоже из их породы, но характер у него другой. Он смешит меня тем, что старается быть похожим на кресла. Пыжится, напускает на себя важность, а ничего не выходит. Ему и невдомёк, что нет

смысла выпячивать грудь и выставлать напоказ всем живот, которые до такой степени разрослись вширь, что уже ни на грудь, ни на живот не похожи. Не помогает ему и чехол, который он напялил на себя. Чехол до того широк, что уже потерял всякое сходство с платьем. А зачем ему платье? Он же мужчина! Диван, однако ж, не замечает всей смехотворности своего положения и, подражая креслам, тоже аккуратненько положил ручки вдоль бёдер...

Но может быть, он просто передразнивает кресла? Может быть, он подшучивает над ними? На самом деле его, может быть, распирает от смеха и от этого он такой надутый? Как все толстяки, диван – добродушное существо, а все, у кого добродушный характер, любят пошутить, посмеяться. Только какой же смех может быть в присутствии этих чванливых кресел! Если мне случится попрыгать по дивану, он с удовольствием поскрипит пружинами, маскируя этими звуками свой смех. Таким образом, и сено цело, и овцы сыты: и посмеялся чуточку и не разозлил никого. Ну, мы-то с диваном понимаем друг друга. Только мне, сказать по правде, не то что прыгать, но даже сидеть на нём, точно так же как и на креслах, нельзя: могу чехлы испачкать.

Да это не очень-то мне и нужно. Подумаешь! У меня больше дружбы со стульями. Хотя они тоже чем-то смахивают на людей (и ножки у них, и спинки), но они не пыжятся изо всех сил, стараясь изображать из себя каких-то недотрог. Словом, ребята они вполне свойские, с которыми можно,

как говорится, запросто, без особенных церемоний.

А вот самая близкая для меня вещь в мире вещей – моя кровать. На её плоских железных спинках, выкрашенных голубой краской, – две замечательные овальные картинки. На картинке, которая у меня в ногах и на которую обычно устремлён мой взор, когда я лежу, изображены ветряная мельница, вдали – деревенские домики среди кудрявых лип и берёзок, а впереди – зелёная лужайка и поблёскивающий на солнце ручей. Я люблю смотреть на этот «романтический» пейзаж... Вернее сказать, любил бы, если бы изготовители кровати не переусердствовали в своём стремлении усладить жизнь ребёнка и не украсили верхушки обеих спинок литыми или штампованными из металла изображениями головы какого-то чудовищного старика, сплошь заросшего волнистыми змеевидными волосами, как у мифической Горгоны, при взгляде на которую люди, как известно, каменели от страха. Приоткрыв в какой-то издевательской усмешке чёрную дыру рта, заросшего вокруг кольцами бороды и усов, старик уставился на меня своими жёсткими, неподвижными глазами, прячущимися в завихрениях косматых бровей.

Даже днём при взгляде на это, с позволения сказать, украшение меня охватывает неприятное, беспокойное чувство страха. Но днём я могу убежать от него в другую комнату, во двор и постараться выбросить его из головы. Но вот наступает ночь. Приходится ложиться спать. Я забираюсь в кро-

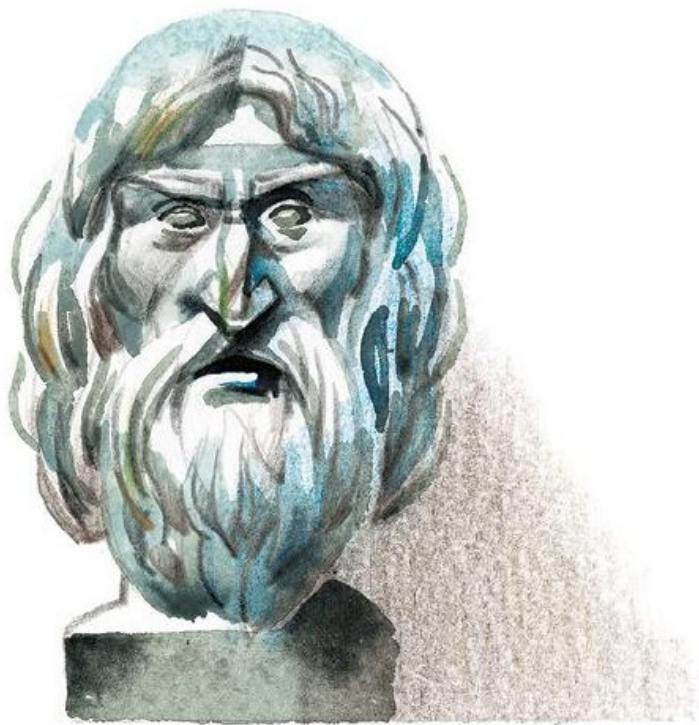
вать, стараясь не смотреть в сторону пугающего меня изображения старика. Но не смотреть на него я не могу. Его лик словно притягивает к себе мои взоры. Я словно хочу разгадать, зачем он так настойчиво на меня смотрит, чего ему от меня надо, что он задумал против меня.

Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, которые до этого были тёмные, даже чёрные, моментально становятся светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы – это лоб. Под ним две форточки – глаза (бывают и одноглазые). Нижние открывающиеся створки – щёки, между которыми длинный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом – другое такое же окно – лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают:

«Ну-ка, посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать».

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшно-го старика. В темноте вид у него ещё более злобный. Я накрываюсь с головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Моё воображение разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошёл со своего места и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идёт. Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно берёт меня на руки и уносит в своё волшебное царство. Я вижу замечательные, фантастические, счастливые сны. Просыпаюсь утром в комнате, залитой солнечным светом. Наскоро одевшись и бросив взгляд в сторону проклятого старика, я бегу во двор к цве-

там и деревьям, к траве, к солнцу, к небу, к радости. Народившийся новый день представляется мне нескончаемо длинным, и предстоящая очередная вечерняя встреча с мифическим стариком видится в таком отдалённом будущем, что уже не тревожит меня.





# Великан

Есть человек, которого я очень люблю. Это мой отец. Какой он? Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать. Он такой как есть, каким должен быть и иным быть просто не может. Мне всё нравится в нём: и лицо, и голос. Он всегда ласков со мной и часто называет меня уменьшительными именами. Когда мы возвращаемся с прогулки и я шагаю из последних сил, чуть не падая от усталости, он подбадривает меня:

– Ну, шагай, Кока, шагай! Смотри, совсем немного до дома осталось. Ты у меня молодчина!

Единственное, что я могу сказать о нём, – это то, что он очень большой. Его туфли, которые он любит называть в шутку «мои скороходы» (производства обувной фабрики «Скороход»), каждый раз приводят меня в изумление своей величиной, особенно когда я вижу их отдельно от него, то есть когда он снимает их. Иногда я пробую влезть в эти скороходы и походить в них. Несоизмеримость моих ног с этой гигантской обувью особенно сильно действует на моё воображение, и мой отец представляется мне каким-то фантастическим существом.

Мне нравится, когда мой добрый великан берёт меня руками под мышки и поднимает над своей головой. Я вижу мир не таким, каким вижу его обычно, то есть с высоты сво-

его ничтожного роста. Мне начинает казаться, что я тоже вдруг стал великаном, и всё моё существо наполняется гордостью. Если же отцу вздумается подбросить меня кверху, я громко смеюсь, испытывая захватывающее чувство радости, смешанное со страхом. Но я люблю испытывать это чувство и прошу, чтоб он подбрасывал меня ещё и ещё.

Я не знаю, что делает мой великан на нашей планете: каково, так сказать, его жизненное поприще и чем он снискивает пропитание для себя и своей семьи. По моим представлениям, вся человеческая деятельность сводится к трём вещам: 1) бегать (можно ходить), 2) видеть и 3) есть, то есть потреблять продукты питания. Откуда берутся продукты питания – это мне предстоит узнать в будущем, а пока я знаю лишь, что время от времени великан уезжает, и я не вижу его иногда по нескольку дней. Я скучаю по нём и спрашиваю мать:

– Когда папа приедет?

Если мать скажет «Вечером» или «Завтра», – это понятно мне. Вечером – это значит, когда кончится день. А завтра – это когда кончится день и пройдёт ещё ночь. Но если мать говорит: «Через пять дней», – как это понять? Ведь я не умею ещё считать.

– Это будет в воскресенье, – объясняет мать, видя, что я не понимаю.

– А когда воскресенье? – задаю вопрос я.

– Воскресенье через пять дней.



– А сколько это – пять дней?

Мать пытается наглядно объяснить мне значение этой числовой величины.



– Ну сколько у тебя на руке пальцев? – спрашивает она.

Я смотрю на свою руку с широко растопыренными пальцами и говорю:

– Много.

– У тебя пять пальцев, – говорит мать и, загибая один за другим пальцы на моей руке, считает: – Один день, два дня, три дня...

Наконец все пальцы загнуты, и я с недоумением смотрю на свою руку, стиснутую в кулак. Видя, что я ничего не понял, мать подводит меня к висящему на стене календарю.

– Сегодня какой день? Вторник, – говорит она и начинает загибать кверху один за другим листки. – Вот смотри: пройдёт вторник, за ним среда, потом четверг, пятница, суббота... а вот видишь на листочке красная цифра – это и есть воскресенье. Мы будем каждый день отрывать по листочку, и, когда дойдём до этого листка с красной цифрой, приедет папа.

– У, это долго, если каждый день по листочку! – говорю я. – Давай оторвём все сразу.

Мать невольно улыбается и начинает объяснять мне, почему нельзя сразу, но я что-то не очень понимаю, какая может быть связь между этими бумажонками на стене и приездом отца.

Вечером, ложась спать, я долго обдумываю этот вопрос. Наутро встаю и, ещё не одевшись, отрываю от календаря

один за другим листочки, пока не появляется листок с красной цифрой.

– Вот, сегодня папа приедет, – говорю я матери, которая застаёт меня за этим занятием, и показываю пальцем на красную цифру.

– Глупый! – говорит мать. – Я ведь тебе объяснила. Значит, ты ничего не понял! Один листок надо было оторвать.

– А если я хочу, чтоб папа приехал?

– Мало чего ты хочешь. Разве пройдут дни, оттого что ты оторвал листочки?

– Ну, я не знаю, как это там получается, – развожу я руками. – Может быть, и пройдут.

– «Может быть», «может быть»! – передразнивает меня мать. – Слушал бы, что говорят старшие. Давай одевайся.

Я начинаю натягивать чулки, которые вечно норовят вывернуться кверху пяткой. Мать поправляет чулок на моей ноге. То, что казалось мне трудным и сложным, так легко и просто получается у неё. Я люблю, когда мать помогает мне одеться. Сквозь чулок, даже сквозь ботинок, когда она завязывает шнурки, я чувствую тепло её ласковых рук.





Через полчаса я сижу за столом на застеклённой веранде и пью чай с молоком. За окнами на ярком солнышке мельте-

шат своими серебристыми листочками берёзы, порхают бабочки, жужжат суетливые мухи разных пород и калибров, плавно проносятся деловитые пчёлы. Словом, вокруг много всякой живности: тут и глазастые голубые стрекозы с трёхпетлистыми прозрачными крылышками, и мохнатые добродушные шмели, и злые полосатые осы. Для меня особенное удовольствие – увидеть стрекозу. А ос я боюсь. Мне кажется, что у них только и мысли, как бы залететь на веранду и ужалить меня.

Сквозь окна и открытую настежь дверь виден почти весь участок, на котором стоит наш дом. Перед самым домом – клумбы с цветами. Я уже знаю названия многих из них. Вот пахучие, пылающие как огоньки настурции. Словно озорные мальчишки, они карабкаются по толстым, кривым, узловатым стеблям, прячутся под большими круглыми листьями, похожими на зелёные зонтики. Вот маргаритки. Они как маленькие примерные девочки: чистенькие, аккуратненькие, немного застенчивые, стоят на своих тонких ножках и, склонив набок головки, о чем-то секретничают между собой. А вот анютины глазки – гордые красавицы. Разодевшись в яркие нарядные платья, они словно собрались на бал.

Но мои самые любимые – резеда: скромные, крошечные, неприметные цветочки с тонким, неповторимым, на всю жизнь запоминающимся запахом.

Если встать ночью, когда все спят, то на клумбах мож-

но увидеть гномиков, то есть маленьких человечков ростом с палец. Они приходят сюда из леса и нюхают резеду. Известно, что гномики ничего не едят и питаются запахом цветов. На головах у них красные остроконечные шапочки, а в руках – крошечные фонарики, которыми они освещают себе путь. Ночью мне надо спать, поэтому живых гномиков я пока не видал, но видал их на картинке, которую показывала мне мама.

Позади клумб – зелёная поляна, пестреющая беленькими ромашками, лиловыми колокольчиками, синими васильками и седыми, пушистоголовыми одуванчиками. За поляной – лес (десятка два молодых берёзок и ольх). Здесь живут мои милые подружки – безмятежно-спокойные, мечтательные фиалки и задумчиво-грустные ландыши (мне всегда ландыши почему-то кажутся грустными, может быть, потому, что выбирают места поединённое, потемнее).

За лесом – лужайка, поросшая густым мхом и бледно-зелёными чешуйчатыми болотными хвощами (место здесь сыроватое). Дальше – серый, потемневший от времени деревянный забор с посаженными вдоль него запашистыми и липучими бальзаминовыми тополями. За забором – улица. Называется почему-то «Первая линия».





Наклонившись над блюдцем, я пью чай и болтаю под столом ногами. Хотя мне не раз твердили, что, сидя за столом, болтать ногами нельзя, я неизменно нарушаю это установление. Дело в том, что меня неудержимо тянет к движению, к перемещению в пространстве. Ноги мои хотят бегать. Но поскольку пить чай и бегать в одно и то же время нельзя, то ноги мои просто болтаются, изображая бег, а бегают вместо них глаза. Скользнув по поверхности стола, они выскакивают за дверь и бегут по посыпанной песком дорожке, которая ведёт через весь участок к калитке...

И тут вдруг случается то, что никак не должно было случиться. Калитка неожиданно открывается, и в ней появляется мой великан. Я хочу крикнуть: «Папа приехал!» — но вместо этого от распирающей меня радости фыркаю прямо в блюдо, и весь чай с молоком выплёскивается мне в лицо, попадая даже за уши. Выскочив из-за стола, я бегу по дорожке... нет, не бегу, а лечу над дорожкой, как шмель, как пчела... нет, как муха (мухи быстрее летают).

— Гоп!

С этим возгласом отец ловит меня, иначе я угодил бы ему головой прямо в живот. Минута — и я въезжаю в дом, сидя у него на плече.

— Вот! — торжественно объявляю я матери. — А ты говорила — глупый!

Отец рассказывает матери, что где-то что-то не то состоялось, не то не состоялось, поэтому он вернулся раньше, чем было намечено.

Мать рассказывает отцу про случай с календарём.

Весело хохочет отец. Спрашивает:

— Ты, может быть, думаешь, я на самом деле приехал, потому что ты календарь испортил? Это совпадение. Знаешь, что такое совпадение?

Он начинает объяснять мне, что такое совпадение. Я, конечно, не могу во всей полноте понять значение этого слова, но, когда впоследствии произошло ещё одно совпадение, я уже знал, что это за штука такая, хотя кончилось в тот раз

совпадение уже не радостью, а слезами.

# Непоправимая беда

Встречаются люди, которые любят донимать детишек вопросами вроде: «Скажи, ты кого больше любишь, маму или папу?»

Они не понимают, что ребёнку подчас трудно разобраться в своих чувствах, что ему к тому же не хочется обидеть мать или отца признанием, что он кого-то из них любит меньше. И невдомёк этим людям, что любовь не какое-то однозначное, измеряемое лишь количественно чувство, где всё решается вопросом: больше – меньше, сильнее – слабее. Они не думают, что по-разному чувство любви проявляется к матери или отцу, к брату или сестре, к близкому родственнику или просто знакомому человеку, что многое здесь зависит не только от человека, которого любят, но и от человека, который любит, от сложившихся взаимоотношений, обстоятельств и прочее.

Отца я вижу реже, чем мать, поэтому и чувства здесь, особенно при встречах, проявляются более бурно: отец схватит на руки, обнимет, поцелует... С матерью я обычно не разлучаюсь. Она всегда рядом или где-нибудь поблизости. Поэтому тут нет ни бурных встреч, ни объятий, ни поцелуев и нежных слов. Если мне и достаются иногда поцелуи, то только по праздникам, когда, по обычаю, полагается поздравлять друг друга или когда я заболею.

Вместе с тем вопрос, кого я больше люблю, кажется мне диким, непонятным, дурацким. Да кого же я могу любить больше матери? Да я разве люблю её? Нет ничего, с чем можно было бы сравнить моё чувство к ней. Она – моя ненаглядная. Без неё я не мыслю своего существования.

Помню: уже я в постели. Мать что-то делает, бесшумно передвигаясь по комнате. Кажется, она раскраивает материю, расстеленную на столе, собираясь что-то из неё шить. Чтоб разогнать сон, который уже давно одолевает меня, я напеваю какую-то сейчас уже позабытую песенку, а глаза мои неотступно следят за матерью.

– Почему ты не спишь? – спрашивает мать. – Пора уже спать.

– Ещё не хочется, – говорю я.

И конечно же вру. Я бы должен сказать:

«Мне ужасно хочется спать, да ведь если я усну, то уже не буду видеть мою милую мамочку. Вот я и стараюсь наглядеться на тебя досыта, пока не одолел сон».



И тогда бы она сказала:

«Спи, родной! Завтра придёт новый день, ты проснёшься раненько и с утра можешь смотреть на свою ненаглядную. Смотри хоть весь день. Но тебе ведь скоро наскучит это, и ты убежишь гулять со своими друзьями... А когда вырастешь, тебе захочется повидать свет, и ты уедешь далеко-далеко. Вспомнишь ли ты тогда о своей мамочке? Приедешь ли хоть ненадолго повидаться с ней? Пришлёшь ли о себе весточку?»

И я бы сказал:

«Я никогда не захочу расстаться с тобой, ненаглядная! А если поеду куда-нибудь, то и тебя заберу с собой. Мы всегда будем вместе».

И тогда она обняла бы меня и сказала:

«Ты будешь хороший сын! Ты будешь хороший человек! Всегда люби свою мамочку. Нет ничего на свете выше и святее этой любви!»

Ничего этого не было сказано, и я очень жалею о том, потому что теперь этого уже не скажешь.

Если моё чувство к отцу – это горный поток, который бурлит, и плещет, и бьётся о берега, то чувство к матери – широкая, спокойно несущая свои воды река. Течения её не замечаешь. Но если на пути этого спокойствия возникнет преграда, то получится... Ниагара!

Отец уезжает часто. Я уже привык к этому и переношу его отсутствие беспечально. Но однажды (сейчас уже не помню, по какой надобности) уехала мать. Великий Боже, что происходило со мной! Дом опустел без неё, словно из него вынесли всё и остались одни голые, чужие, холодные стены. Сердце моё опустело и сжалось от боли. Солнце погасло на небе. Жизнь потеряла смысл. Слёзы душили меня весь день. Более полувека прошло с тех пор, а я помню всё, как будто это происходило вчера. На кухне Настя (домработница) стирает бельё у раскрытого настежь окна, а я в изнеможении от слёз лежу во дворе под окном на голой земле, подложив под голову

старый, прохудившийся голубой эмалированный тазик, перевернув его кверху дном. Настя, стирая, поёт во весь голос какую-то нескончаемую заунывную песню, а я рыдаю под эту песню и удивляюсь лишь одному: откуда во мне, таком маленьком, такая огромная боль, такая исполинская нечеловеческая тоска. Вот только не помню, чем всё это кончилось. Не помню радости встречи с матерью. Наверно, я просто уснул, прижавшись разгорячённой щекой к холодному тазу.

Пусть говорят психологи и физиологи, что дети и старики часто плачут оттого просто, что очень слезливы, оттого, дескать, что слёзные железы у них легко выделяют влагу. Я-то знаю, что это не так! Они плачут потому, что у них ещё нет (или уже нет) сил справляться с чувствами, которые внушает им эта непонятная и неумолимая жизнь. Страдание от этого не уменьшается, а лишь увеличивается.





Я уже знаю, что мы живём в Ирпене. А Ирпень – это железнодорожная станция в двадцати пяти километрах от Киева по теперешнему счёту (раньше считали на вёрсты). Местность здесь красивейшая: есть лес и река, поэтому у многих киевлян в Ирпене дачи. Но мы, как и другие ирпенские жители, живём здесь постоянно, то есть и лето, и зиму.

За забором, вдоль которого тянется дорожка от нашего дома к калитке, – дача Капийковских. Дом Капийковских – словно средневековый замок: с какими-то затейливыми террасками, балкончиками, мезонинчиками, островерхими башенками со шпилями и слуховыми окнами на крышах. Наш маленький беленький домик с зелёной двускатной крышей, без всяких прикрас, кажется чересчур простеньким и даже бедным по сравнению с этим роскошным «замком», но, если бы мне предложили, я бы не согласился поменяться с Капийковским домом, потому что наш дом – родной, а дом Капийковского для меня чужой. Мне в нём было бы скучно и неудобно, я чувствовал бы себя стеснённо, как в присутствии чужого, несимпатичного мне человека.

Усадьба Капийковских обжитая, ухоженная; вся в прудах с бетонированными берегами и прозрачной водой, сквозь которую хорошо видны плавающие рыбы. Вокруг растут яблони, груши, сливы, вишни, а из бесполезных, то есть не плодовых, деревьев – акации.

Позади усадьбы Капийковских в просветах между дере-

вьями видна железнодорожная насыпь. С крыльца нашего дома мне хорошо видно, как по железной дороге проносятся поезда. Для меня большое удовольствие увидеть поезд. А самое радостное событие – это когда мне дарят на праздник игрушечный паровозик с вагончиками. Жаль только, что в этом игрушечном железнодорожном составе всего лишь два вагончика. Но у меня план: когда-нибудь мне подарят ещё паровозик с двумя вагончиками, я прицеплю все вагончики к одному паровозу, и получится как настоящий поезд.

Этому плану, однако, не суждено осуществиться. И не потому вовсе, что мне не дарят больше игрушечных поездов. Мне дарят, но они у меня не живут почему-то. Я их вечно ломаю, и к тому времени, когда мне дарят новый железнодорожный состав, от старого остаётся лишь одно воспоминание. Конечно, я не просто ломаю игрушки с целью уничтожения. Я их разбираю на отдельные детали, после чего собираю эти детали вместе, потом опять разбираю и опять собираю. И так до тех пор, пока не обломаются железки, с помощью которых детали держатся друг за дружку, после чего их уже не соединишь и остаётся лишь выбросить. Я, конечно, понимаю, к чему ведёт это разбирание и собирание, но у меня какие-то непослушные руки. Я никак не могу заставить их не делать того, что им хочется.

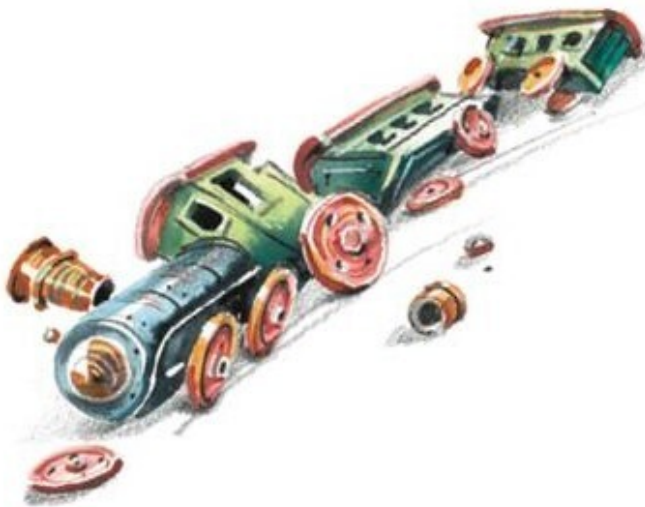
Но вот наконец я снова (уже в который раз) счастливый обладатель любимой моей игрушки. Я лежу посреди комна-

ты и вожу по полу паровозик с прицепленными к нему двумя вагончиками. Когда лежишь, паровозик с вагончиками видны не сверху, а сбоку и выглядят совсем как взаправдашний поезд. Мать примеривает перед зеркалом новую блузку или платье (сегодня какой-то праздник, мы ждём гостей или сами собираемся к кому-то в гости, сейчас уже не помню точно). Я как зачарованный смотрю на свой поезд и думаю о том, что теперь уж ни за что не стану ломать игрушку; а когда мне подарят ещё такую же, вагонов станет вдвое больше и поезд будет длинней, а потом мне подарят ещё – поезд станет ещё длинней. Он растёт у меня на глазах. Я уже вижу, как он мчится по стальным рельсам через поля и леса. Машинист в своей будке поворачивает рычаг, чтоб увеличить скорость, кочегар бросает лопатой чёрный уголь в паровозную топку. Сизый дым валит из паровозной трубы. Белый пар с шипением вырывается из-под колёс. Весёлые пассажиры выглядывают в окна вагонов и машут мне руками. Слышен паровозный гудок. Гремят по рельсам колёса...

Кррак!

Мать отошла от зеркала, сделав шаг назад, и наступила ногой на поезд. Весь состав – и паровоз, и вагончики – оказался сплюснутым в лепёшку. Колёса отломались. Одно из них покатилося по полу далеко в сторону.

Я обомлел при виде такой катастрофы.



– Вот ты вечно бросаешь на полу свои игрушки! – с укоризной сказала мать. – Я и не заметила, что здесь твой поезд.

Только тут я понял всю непоправимость случившегося, и слёзы брызнули из моих глаз.

– Ну, не реви, не реви. Я скажу папе, чтоб купил новый.

Да! Это ещё жди, чтоб купил! И потом: когда купит новый, не будет старого, и опять состав получится только из двух вагончиков. Надо же было случиться такому как раз тогда, когда я дал себе клятву беречь игрушку, не ломать её! Я ещё громче заплакал. Ведь погиб не просто паровозик

с двумя вагончиками. Погибла мечта собрать побольше вагонов, чтоб вышел настоящий железнодорожный состав.

– Вот ревёт! – теряя терпение, сказала мать. – Небось если бы мать умерла, не плакал бы так.

Услышав это, я начинаю рыдать с удвоенной силой. Новое горе сдавило грудь. Ах, милая мамочка, зачем ты сказала такие слова! Теперь меня неотвязно будет преследовать мысль, что ты вдруг умрёшь и я никогда-никогда не увижу свою ненаглядную.

– Ишь что делается! – качает головой мать. – И всё это из-за какого-то паровозика! Из-за пустой игрушки!

«Нет! Не из-за игрушки! – хочется крикнуть мне. – Как ты могла подумать, что какая-то игрушка мне дороже тебя! Пусть соберут все игрушки со всего света, разве я возьму их, если для этого нужно будет расстаться с тобой? Что мне весь мир без тебя!»

Мать иронически усмехается, и я чувствую, что она даже не знает, какую рану нанесла моей душе. Рана эта не заживёт никогда.

# **Зачем я это сделал?**

А вообще-то я не один. Нас двое. Я и мой старший брат. Он старше меня на полтора года и представляет собой самостоятельную жизненную единицу, способную проявлять свою волю, принимать и отменять собственные решения, знающую, что, где, как и когда надо делать. Я же при нём нечто вроде тени, отбрасываемой в солнечный день предметом. Иными словами, я делаю то, что делает он, и бегу вслед за ним, если ему вдруг вздумается куда-нибудь бежать.



Вот мы вдвоём играем во дворе, отбивая палками штукатурку от стены нашего дома. Зачем нужно отбивать штукатурку да ещё от собственного дома, я не знаю, но меня занимает этот процесс, в результате которого из-под осыпающейся извёстки всё больше обнажается деревянная стенка, обитая дранкой. Может быть, в этом действии проявляется познавательный инстинкт (интересно узнать, что там, под штукатуркой, и из чего сделан дом). Удовлетворение же

инстинкта, как известно, всегда сопровождается переживанием положительной эмоции, то есть, попросту говоря, доставляет удовольствие.

Но вот брату наскучивает это занятие. Он закидывает палку на крышу дома и, не сказав ни слова, бросается куда-то бежать. Я тоже кидаю палку на крышу. Но палка не долетает до крыши, а, ударившись о стенку дома, отскакивает и летит прямо в меня. Повернувшись, я удираю от палки, но она догоняет меня и стучает по спине. Не обращая на это особенного внимания, я бегу вслед за братом, путаясь ногами в высокой траве.





Нужно сказать, что мой брат — особенный человек. Он не любит бегать или ходить по дорожкам. Если уж он бежит, то бежит по прямой линии: трава так трава, лужа так лужа, грязь так грязь...

Преодолев травяные пампасы, мы мчимся через лесной массив, причём брат попутно сбивает ногами шляпки с попадающихся поганок и мухоморов, после чего преодолеваем болотистую местность, заросшую густым мхом, в котором буквально тонут ноги, и оказываемся перед забором.

Брат и тут не сворачивает в сторону, чтобы выйти на улицу через калитку. Он лезет прямо через забор. Я лезу за ним, хотя поначалу препятствие это мне кажется неодолимым. Загнав под ногти пару заноз и оцарапав ногу, я взбираюсь на вершину забора, откуда прыгаю уже с другой стороны, но, не удержавшись на ногах, падаю. Ничего! Достижение всё же есть. Я тоже могу лазить через заборы!

Брат между тем бежит дальше. Поднявшись, я бегу за ним. На пути канава. Брат с разгона ловко взвизывается в воздух – вот он уже на другом берегу канавы. Я тоже взвизываюсь в воздух и плюхаюсь точно посередине канавы, увязая по пояс в грязной, рыжевато-коричневой воде. Цепляясь руками за траву, растущую по берегам канавы, я выкарабкиваюсь из засасывающей меня трясины и бегу, стараясь догнать брата, который уже далеко впереди.

Наконец мы у цели нашего путешествия. Обогнув усадьбу Капийковского с обратной стороны, мы оказываемся на берегу болота, тянущегося вдоль подножия железнодорожной насыпи. Над спокойной поверхностью болотной воды, затянутой местами ряской, возвышаются зелёные кочки и островки с растущими на них тонконогими, худосочными берёзками и ольхами. У некоторых деревьев стволы торчат прямо из воды. Берега болота усеяны голубоглазыми незабудками. Я уже давно заметил, что эти миленькие цветочки любят сырые места.

Однако не незабудки влекут сюда брата, а нечто иное:

лягушки. Их тут полно. Настоящее лягушиное царство. Брат очень ловко умеет справляться с ними. Зажав пойманную лягушку в кулаке, он высоко поднимает руку кверху и с силой бросает лягушку на землю. Бац! Лягушка остаётся лежать без движения.

Не знаю, сам ли он придумал этот фокус с лягушками или видел, как это делали другие ребята, но я с завистью смотрю на его лягушачьи подвиги. Мне тоже хочется поймать хоть одну лягушку, но для этого у меня не хватает ловкости. Не успею я подбежать к высунувшейся из воды лягушке, как она тут же ныряет обратно под воду и прячется от меня в тине.

Постепенно мне становится ясно, что моя тактика не годится. Надо не бегать от лягушки к лягушке, а спокойно сидеть на берегу и, как только поблизости из-под воды высунется лягушка, тут же хватать её.

Я приседаю на корточки у края болота и терпеливо жду. Скоро моё терпение вознаграждается. Прямо передо мной над поверхностью воды появляется лягушачья голова с выпученными, глядящими прямо в небо глазами. Я уже готов протянуть руку, но медлю, боясь спугнуть добычу. В это время лягушка начинает энергично шевелить под водой лапами, поворачивается головой прямо к солнцу и, зажмурив глаза, громко говорит:

«Квак!»

Тут-то я и схватил её. Какое счастье! Всё-таки я своего до-

бился. Взмах руки. Бац! Лягушка остаётся на земле без движения.

Осуществилась моя мечта... Но что это? Какое-то неприятное чувство овладевает мной. Я уже не ощущаю почему-то прилива счастья, которое только что охватывало меня.

Если бы я был способен в те годы формулировать свои мысли, то, наверно, выразил бы их в таких простых словах:

«Зачем я это сделал?»

Впоследствии, как в детстве, так и уже будучи взрослым, я не раз убеждался, что мы часто сами не знаем, в чём наше благо. Нам кажутся заманчивыми такие вещи, которых мы не стали бы делать, если бы знали, какие чувства будем испытывать, после того как наше стремление осуществится. Но ведь чтобы испытать эти чувства, надо, чтоб стремления осуществились, чтобы дело уже было сделано, чтобы слова, которых уже не вернёшь, были сказаны...

У брата между тем новая идея.

– У тебя, кажется, есть денежки? – говорит он и, сунув руку ко мне в карман, достаёт два или три медных кружочка с выбитыми на них непонятными для меня обозначениями и буквами.

Такие кружочки, независимо от их размеров, носят у меня название денежек или копеек, но в чём назначение этих денежек, я не знаю. По моим представлениям, это предметы скучные и никакой ценности не представляющие. По сравнению с ними пуговицы куда полезнее и интереснее: их можно

к чему-нибудь пришить, а многие из них даже очень красивые.

Зажав в кулаке монетки и не сказав ни слова, брат начинает бежать. Я, разумеется, бегу за ним. На этот раз цель нашего бега — бакалейная лавочка немца Шеккера на соседней улице. Прибежав в лавочку, брат протягивает стоящему за стойкой Шеккеру зажатые в кулаке монетки и просит дать ему сдобных булочек, именуемых в просторечии плюшками. Бросив полученные монетки в ящик под стойкой, Шеккер заворачивает в розовую бумажку несколько булочек и отдаёт брату.

Выйдя из лавочки и усевшись неподалёку на пустыре под большим дубом, мы начинаем уплетать с аппетитом плюшки, которые после продолжительной беготни на чистом воздухе кажутся особенно вкусными. Меня, однако, интересует вопрос, зачем брат отдал Шеккеру монетки, и я спрашиваю его об этом.



– Что ж ты хотел, чтоб он дал нам плюшки без денег? Он не дурак, – отвечает брат.

– А если б ты ему не отдал копеечки, он бы не дал тебе плюшки? – спрашиваю я.

– Какой же дурак станет давать тебе плюшки даром? – отвечает брат.

– А зачем Шеккеру деньги? – недоумеваю я.

– Ты дурак, – говорит брат. – Деньги каждому дураку нужны, потому что каждый дурак может купить за деньги что ему надо.

Постепенно мне становится ясно, что никакой дурак ни-  
какому дураку ничего не даст, если тот ему не даст взамен де-  
нег. Это была для меня новость. Открытие! Я начинаю пони-  
мать, что эти скучные кружочки, которые я ни во что не ста-  
вил, имеют какое-то магическое свойство, в силу которого  
их можно обменивать на всё, что тебе захочется.

В это время я замечаю, что брат, не доев булочку до конца,  
бросает оставшийся кусочек в траву и принимается за дру-  
гую. Меня удивляет, как можно выбрасывать такую вкусную  
вещь, и я спрашиваю брата, зачем он это делает. Брат объ-  
ясняет, что он брал руками лягушек, а теперь, чтоб не испо-  
ганить всю булочку, держит её за кончик и, когда булочку  
съест, этот кончик выбрасывает.

Опять что-то такое, чего не понимаю я. Лишь впослед-  
ствии я понял, что у меня тогда ещё не было чувства брезгли-  
вости. Ведь брезгливость, как и стыдливость, не заложена  
в человеке от природы, а воспитывается обществом (жи-  
вотные обходятся без этих чувств). В то время я не считал  
лягушку чем-то гадким, омерзительным, скверным, и разго-  
вор с братом лишь напомнил мне о той, о моей, лягушке,  
которая, вытянув задние лапки и раскинув передние, словно  
ручки, осталась среди незабудок на берегу.

Почему-то события этого дня запомнились мне во всей их последовательности. Безусловно, потому, что я узнавал каждый раз что-то новое, важное для себя и испытывал сильные чувства. Со временем и у меня появилось чувство брезгливости и отвращения к лягушкам. Мне приходилось делать над собой усилие, чтоб взять в руки лягушку, ящерицу или тритона. Но я никогда больше не делал этим животным зла. Даже когда стал взрослым.

Теперь, вспоминая те времена, я не удивляюсь тому, что чего-то не знал, но удивляюсь мыслям, которые приходили мне в голову. А беспокоила меня тогда ужасно мысль: каким человеком я вырасту, если всё время буду бегать хвостом за Павлушкой, то есть за братом, и делать всё, как он. Я боялся, что из меня получится какой-нибудь никудышный, безвольный, несамостоятельный, бесхарактерный человек, неспособный принять какое-нибудь решение и осуществить его, человек, которому постоянно нужна будет нянька.

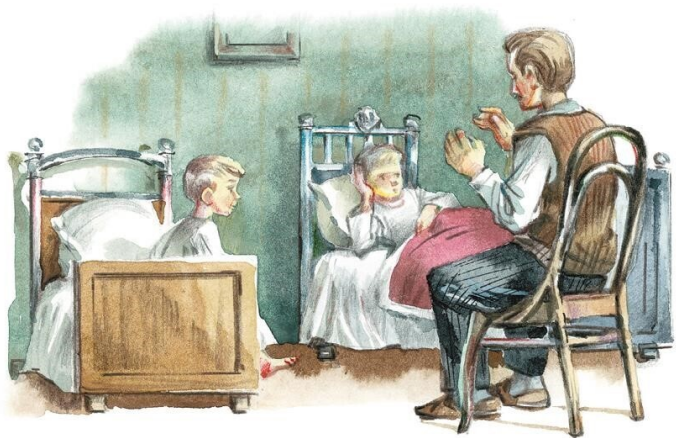
И мне ужасно хотелось сделать что-нибудь вполне самостоятельное, чтоб можно было сказать:

«Это я сам!»



# Приговорённый к казни

В наш механизированный век детям рассказывает сказки машина, называемая телевизором. В дни моего детства таких машин не было, и детям рассказывали сказки ближайšie родственники, чаще всего дед или бабка или какая-нибудь прижившаяся в семье старушка нянюшка. В нашей семье не было ни дедки, ни бабки, ни прижившейся нянюшки, а сказки рассказывал отец. И нужно сказать, хорошо умел это делать. Мы с братом, бывало, чуть вечер – просим его рассказать сказочку. Он долго отнекивается (так уж принято), говоря, что уже всё рассказал и никаких новых сказок не знает. Но мы ведь и не просим новых. Мы согласны слушать старые, уже слышанные по пятьдесят раз сказки, чтоб ещё раз пережить испытанные нами чувства.



Сказки эти – самые распространённые, ходовые русские народные сказки, которые действительно можно слушать по многу раз – и не надоест. Среди самых любимых сказок – «Кот, петух и лиса», в которой коварная лиса хитро выманивает из дому глупого петуха: «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку». И петух – дурень такой! – поддавшись на лесть, выглядывает в окошко, лиса тут же хватается за него, после чего петух начинает призывать на помощь своего друга кота, ушедшего на охоту: «Котик, братик, выручи меня! Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы, в глубокую нору». Услыхав эти призывы, кот бросается на выручку и спасает петуха, предупреждая, что в следующий раз он уйдёт далеко и не сможет услышать его крик, поэтому не надо поддаваться на уговоры лисы. Но простоватый петух всё же каждый раз делал не так, как советовал ему кот. Конечно, он поступал глупо, непоследовательно, но я его понимал, этого петуха: бывает, и не хочешь чего-нибудь сделать, а вот возьмёшь и сделаешь; и помнишь, что тебе двадцать раз твердили: нельзя, нельзя, нельзя, а тебя словно под руку кто-то толкает. Было в натуре этого петуха что-то детское, доступное чувствам ребёнка.

Умиляла в этой сказочке трогательная дружба кота с петухом и то постоянство, с которым кот приходил каждый раз на выручку своему незадачливому другу, ничего, впрочем, от него не получая взамен.

Нравилась также сказка про волка и лису, в которой лиса подучила волка сунуть хвост в прорубь, чтоб наловить рыбы. Вот волк-простофиля опустил хвост в прорубь, вода в проруби замерзает, а лисица приговаривает: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Волк спрашивает: «Что ты, кумушка, говоришь?» – «А я говорю, ловись, рыбка, большая и маленькая». От сказки этой оставалось всё же какое-то болезненное, неприятное чувство. Хвост у волка примерзал ко льду, прибежали мужики, начинали колотить волка, волк отрывал хвост и убегал. Жалко было волка. Думалось: ему ведь без хвоста больно!

Самая страшная сказка была про медведя на липовой ноге. О том, как повадился медведь на пасеку к мужику мёд воровать, а мужик выскочил с топором. Медведь – удирать, а мужик бросил топор и отрубил медведю ногу. Баба стала варить мясо от этой медвежьей ноги, шерсть ободрала и стала прясть. А медведь решил отомстить. Сделал себе деревянную ногу из липы и берёзовую клюку, ночью пошёл в деревню. Идёт и приговаривает: «Скирлы, скирлы, скирлы, на липовой ноге, на берёзовой клюке. Все по сёлам спят, по деревням спят, одна баба не спит – мою шёрстку прядёт, моё мясо варит...»

Как только отец начинал страшным голосом это «скирлы, скирлы», мы с братом залезали с головой под одеяло и тряслись от страха, и всё же каждый раз просили рассказать эту сказку.

Но самое неизгладимое впечатление произвела на меня сказка «Мальчик с пальчик», которая рассказывалась в таком варианте. Жили муж и жена. И у них было много детей. Самый маленький был мальчик с пальчик. Муж и жена были небогатые, а скоро и совсем обеднели. И вот однажды вечером муж говорит жене: «Давай заведём наших детей в лес да там и оставим. Всё равно у нас уже нет денег, и кормить их нечем будет». Так они и решили. А мальчик с пальчик в это время не спал и всё слышал. На следующий день он набрал полные карманы камешков, а когда отец повёл его вместе со всеми братьями в лес, как будто на прогулку, он тайком бросал из кармана по одному камешку на землю. Вот отец отвёл их в самую гущу леса да там и бросил, сказав: «Вы тут погуляйте, а я пойду поищу грибов». Ребята играли, играли, а отца всё нет и нет. Видят, уже и вечер скоро наступит. Все стали плакать. А мальчик с пальчик: «Не плачьте, я найду дорогу домой». И вот он по тем камешкам, которые бросал, когда по лесу шли, нашёл дорогу домой. Пришли братья из леса, а войти в дом бояться. Стоят под окном и слушают, как отец с матерью разговаривают. Оказалось, что приехал брат отца и привёз им много денег, и теперь они жалеют, что отвели своих детей в лес. Мать говорит, что надо идти искать их, а отец отвечает, что их всё равно уже растерзали, наверно, хищные звери. Отец и мать начали плакать, а мальчик с пальчик и братья бросились поскорей домой. «А вот и мы!» – говорят. Все были рады. И стали жить-поживать да

добра наживать.





С тех пор как я услышал эту сказку впервые, в моей душе поселилась тревога. Я только и думал о том, что родители мои обеднеют и отведут нас с братом в лес на растерзание ди-

ким зверям. Я, правда, не высказывал никому своих опасений, но мысли эти не покидали меня. Может быть, я был излишне впечатлительным ребёнком. Может быть, я был в таком возрасте, когда ещё рано слушать подобного рода сказки. А то ведь бывают сказочки и похлеще этой. Про Бабу-ягу, например, которая варила детишек в огромном котле или сажала их на лопату – да в печь. Малый ребёнок ещё не понимает, что здесь к чему, где здесь правда, где ложь, и что у него в голове там творится, взрослым и невдомёк. Они знай себе рассказывают свои сказочки, не задумываясь, какие мысли это внушает ребёнку.

Один весёленький случай произошёл со мной в таком возрасте, хотя и не на сказочной почве, но это как раз то, о чём к месту здесь рассказать.

В этот день отец был дома, а у нас почему-то был мальчик лет четырнадцати, которого я ни до того, ни после того ни разу не видел. Кажется, он приехал откуда-то к нашим соседям, а зачем пришёл к нам, это было мне неизвестно. Звали его Тадеуш. Он был поляк и не совсем правильно говорил по-русски; то есть он говорил довольно чисто, без акцента, но некоторые слова он забывал или путал. Отец и этот Тадеуш что-то мастерили; сейчас, хоть убей, я не могу вспомнить, что именно, но то, что они делали, было для меня до чрезвычайности интересно. В ход были пущены и пила, и топор, и нож, и молоток, и напильник. Мне нравилось, что отец разговаривает с Тадеушем как с равным, советуется



с ним, что и как лучше сделать. И сам Тадеуш мне нравился. Он был стройный, красивый мальчик и очень увлечён был тем, что делал. У них что-то не ладилось. Отец обстругивал ножом какие-то палки, потом сказал, что нож тупой. За нож взялся Тадеуш. Я, положив локти на стол и подперев подбородок руками, как зачарованный следил за всеми их действиями и с нетерпением ждал, что же из всего этого в конце концов выйдет. Воображение моё рисовало нечто доселе невиданное, фантастическое.

И, как бы пробуждаясь от своих грёз и возвращаясь к нашей странной действительности, я слышу фразу, которую ни с того ни с сего вдруг произносит Тадеуш.

– Его, – говорит, – надо зарезать.

Ужас обуял меня. Я решил, что он предлагает зарезать меня. Ведь, кроме меня и их двоих, в комнате никого не было. Если бы Тадеуш имел в виду отца, он сказал бы: «Вас надо зарезать»; если бы он имел в виду себя, то сказал бы: «Меня надо зарезать»; но он сказал: «Его надо зарезать», а в третьем лице можно было говорить лишь обо мне в сложившейся ситуации. Что такое «зарезать», я уже знал тогда. Бывало, зарежут курицу или петуха – и в суп... Первой моей мыслью было спастись бегством, но, к своему удивлению, я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, даже пальцем не мог шевельнуть. Я словно окаменел. Нет! Это неправильное сравнение. Камень тяжёлый, а у меня было такое впечатление, будто всё моё тело онемело и потеряло вес. Мне казалось, что, если из-

под меня вытащить стул, я так бы и остался сидеть, повиснув в воздухе без всякой опоры.

– Ты хочешь сказать «наточить»? – словно сквозь сон, услышал я голос отца.

– Да, наточить, – смущённо махнув рукой, в которой держал нож, ответил Тадеуш.

– У нас нет бруска, но можно поточить о кирпич, – ответил отец.

Жизнь постепенно возвращалась ко мне. Я начал понимать, что парень просто ошибся из-за недостаточного знания русского языка и, вместо того чтоб сказать «наточить», сказал «зарезать». Испуг, перехвативший моё дыхание, понемножечку проходил. Я уже мог свободно дышать, шевелить пальцами и потихоньку болтать под столом ногами. Всё это произошло в несколько секунд, может быть, даже за одну секунду, но мне показалось, что протекла вечность.

Так в течение какой-нибудь ничтожной секунды я пережил чувства приговорённого к смертной казни и испытал радость помилованного.

Многие ли могут о себе это сказать?

# Счастье

Спросите любого взрослого, что такое счастье, и вы увидите, как трудно ему будет ответить на этот вопрос. Я же хотя и не взрослый, но без всякого затруднения скажу, что счастье – это когда у нашей кошки Мурки появляются маленькие котята.

Вытянувшись во всю длину и повернувшись на бок так, чтоб котяткам было удобно сосать молоко, Мурка лежит под крыльцом на куче ветоши, из которой она устроила для котят гнездо. У неё такой спокойный, удовлетворённый вид! Глаза её светятся счастьем, я бы даже сказал – блаженством. Видно, что она очень довольна тем, что у неё есть маленькие котята и ей можно заботиться о них.

Если взять одного котёночка и отодрать его от живота Мурки, она ласково скажет:

«Мур-р!»

И лизнёт вашу руку, как бы в благодарность за то, что вы приласкали её детёныша.





Котята с таким усердием, с таким наслаждением, я бы даже сказал, с таким упоением сосут молоко, припав к животу матери, что не возникает никакого сомнения в том, что они тоже счастливы.

И если человеческое счастье заключается в том, чтобы видеть счастливыми тех, кого любишь, то я очень счастливый человек, так как очень люблю этих милых, симпатичных зверьков и могу любоваться ими, когда мне вздумается.

Одного любования, впрочем, ребёнку мало, так как ему из всего хочется устроить игру. Мой старший брат (очень изобретательный человек) придумывает эксперимент: взять у кошки одного котёнка, положить подальше в траву и посмотреть, что она станет делать. Кошка тотчас же вскакива-

ет, подбегает к котёнку, и, батюшки, что она делает! Она хватает его прямо зубами и тащит обратно в своё логово. Меня прямо передёргивает от страха. Ведь котёнку, наверно, больно, думаю я. Мне уже известно, какие острые у кошки и зубы и когти. Я внимательно осматриваю котёнка, но не замечаю на его теле никаких следов кошачьих зубов. Видать, кошка умеет очень осторожно брать котёнка зубами и не причиняет ему вреда.

В дальнейшем опыты усложняются. Мы с братом прячем от кошки в траву всех котят и наблюдаем, как она переносит в зубах по одному котёнку обратно в гнездо. Потом прячем котят подальше за домом. Но где бы мы их ни прятали, кошка обязательно находит их и водворяет на место. Наверно, если бы у нас с братом не было других дел, мы уморили бы котят голодной смертью, так как кошке некогда было бы их кормить.



Сказать по правде, мне по временам становится жалко Мурку, когда я вижу, сколько ей приходится переносить забот и трудов, но я стараюсь заглушить в себе чувство жалости. Во-первых, надо же как-то играть, а во-вторых, брат старше и лучше знает, что, как, когда и в каких случаях надо делать.

Дни между тем идут. Котята подрастают. У них прорезаются глаза, да такие большие, красивые. Котята начинают играть между собой. Борются, бегают друг за дружкой. А то какой-нибудь котёнок спрячется за спину матери, а потом выскочит, как из засады, на кого-нибудь из своих братьев. Кошка с удовлетворением наблюдает за их игрой и ничуть не сердится, когда кто-нибудь из котят вздумает вскарабкаться ей

на спину.

Этой безмятежной идиллии наступает конец, когда появляемся мы с братом. В руках у нас довольно большой, сколоченный из толстых сосновых досок ящик из-под гвоздей. Он напоминает собой те ящики, в которых высаживают на балконах цветы, только покороче. Мы сажаем в этот ящик котят и несём к пруду.

На нашем участке позади дома, недалеко от сарая, есть пруд. Нужно сказать, что он не из того сорта прудов, которыми украшена дача Капийковского. Он похож, скорее всего, на огромную чёрную четырёхугольную яму, вырытую в чернозёмной почве и наполненную чёрной как дёготь, застоявшейся водой, в которой не живут ни рыбы, ни лягушки, ни пиявки, а живут какие-то противные бледно-серые, мягкотелые жуки величиной с большого кузнечика. Этих жуков мы с братом называем щипалками.

Пока мы несём котят в ящике, Мурка бежит за нами, трётся боками о наши ноги и просительно заглядывает нам в глаза, как бы умоляя не сделать зла её детям. Мы, однако ж, продолжаем невозмутимо шагать со своей ношей.

Подойдя к пруду, мы спускаем ящик с котятами на воду и отталкиваем его от берега. Ящик выплывает на середину пруда. Котята выглядывают из ящика, словно заправские матросы из-за бортов парохода. Мне даже кажется, что они улыбаются, радуясь тому, что плывут по воде.

Кошке, однако, не до радости. Она встревоженно мечется



вдоль берега пруда то в одну сторону, то в другую, но, видя, что посуху ей до котят не добраться, вдруг прыгает в воду и плывёт к ящику. Такой поступок с её стороны для меня неожиданность. Я всегда был уверен, что кошки боятся воды и не умеют плавать. Но Мурка плыла с таким умением, будто всю жизнь только этим и занималась. Из воды торчали только её голова и кончик хвоста. Вот она подплывает к ящику и... Глупая! Что она делает!.. Она цепляется когтями за борт ящика. Ящик опрокидывается и начинает наполняться водой. Кошка успевает схватить одного котёнка зубами и плывёт с ним обратно к берегу.



Наблюдая эту волнующую сцену, я мысленно кричу: «Глупая! Одного спасла, а остальные утонут!»

Погружаясь всё больше в воду, ящик ложится набок, но котята не тонут. Спасаясь от заливающей ящик воды, они выкарабкиваются на боковую стенку. Но ящик, продолжая вращаться, переворачивается кверху дном. Каким-то чудом котята успевают перебраться со стенки на дно. Ящик между тем вертится дальше и ложится на другой бок. Спасаясь от наступающей воды, котята перекочёвывают на этот бок. Вращение ящика всё убыстряется, и котяткам приходится совершать чудеса эквилибристики, чтоб удержаться на поверхности.

– Спасай! – раздаётся команда брата.

Я поспешно сбрасываю штанишки и, преодолевая отвращение к щипалкам, лезу в воду. Добравшись до тонущего ящика, я вытаскиваю его вместе с котятами на берег. Кошка уже тут как тут. Собрав измокших котят вокруг себя, она ведёт их обратно в своё гнездо, где тщательно облизывает каждого языком.

В этот день мы не повторяем больше этот эксперимент. Но на следующее утро мы с братом снова появляемся со своим ящиком возле Муркиного гнезда, и кошачья водяная феерия разыгрывается в той же последовательности, с теми же подробностями и с тем же концом. Этот кошачий «цирк» мы с братом устраивали для себя чуть ли не ежедневно, пока котята не подросли настолько, что научились выскакивать из ящика и удирать от нас до того, как нам удастся спустить ящик на воду.

# Преступления и наказания

Мать считает, что мы с братом становимся невозможными. В результате в доме у нас появляется новая вещь – кнут. Самый обыкновенный извозчицкий кнут, которым погоняют лошадей. Он состоит из кнутовища, то есть из небольшой дубовой палочки, к которой привязан тонкий ремешок из гибкой сыромятной кожи. На конце этот ремешок завязан узелком, чтоб было больнее, когда им стегают.

Кнутом этим нас, однако, никто не бьёт. Он просто стоит в углу комнаты на видном месте для устрашения. Предполагается, что, видя кнут, мы с братом будем воздерживаться от шалостей из опасения, как бы кнут не погулял по нашей спине.

Кнут всё же не оказывает на нас своего магического воздействия. Мы продолжаем шалить. Мать то и дело грозит, что скажет отцу и попросит наказать нас. И она часто приводит в исполнение свою угрозу. Но отец дома бывает обычно в благодушном настроении. Ему неохота затевать возню и устраивать побоище.

– Ничего, – стараясь сделать вид, будто сердится, говорит он. – Я им всё соберу в кучу.

Собрать в кучу на его языке означает подождать, когда у нас с братом накопится побольше провинностей, и тогда уже за один раз рассчитаться с нами. Наконец жалоба матери

совпадает с соответствующим настроением отца.

– Ну я им задам лупцовку! – грозитя он. – Сейчас я им устрою мойку!

Для того чтоб устроить так называемую мойку или лупцовку, отцу не нужны кнут, плётка или ремень, которыми пользуются в таких случаях в других семьях. Ему нужно полотенце. Это полотенце он берёт за середину зубами так, чтоб оба конца свободно свешивались вниз, затем начинает скручивать руками один конец наподобие толстой верёвки. Скрутив этот конец как можно туже и придерживая его рукой, чтоб он не раскрутился, он начинает точно таким же образом скручивать и второй конец.

Лоб у него нахмурен, щёки отдуваются, губы оттопырены, усы лежат двумя жёсткими щёточками на полотенце, которое он держит в зубах. Лицо у него от этого какое-то чужое, незнакомое, несимпатичное. К тому же он ещё громко сопит носом. Мы с братом притихли и, замирая от страха, прислушиваемся к этому сопению.

Но вот и второй конец полотенца скручен так же туго, как первый. Отец берёт оба конца в правую руку и выпускает полотенце из зубов. Освободившись, оба конца полотенца уже сами собой скручиваются плотным жгутом. Размахивая этим жгутом, отец начинает гоняться за нами по всем комнатам, нанося удары по спине то одному, то другому. Я бы сказал, что это не так больно, как страшно. Боль от удара жгутом хотя и вполне ощутимая, но не резкая. После удара те-

ло как бы зудит или почёсывается. Но это ощущение быстро проходит. Набегавшись по комнатам и воображая, что с честью выполнил свой родительский долг, отец успокаивался и вешал полотенце на место.



Не думаю, что подобного рода меры имели какое-нибудь воспитательное значение, так как в чём заключались наши провинности?.. Ну, разбил чашку или стакан, порвал или испачкал одежду, промочил ботинки, лазая по болоту, вертел швейную машинку, не ел суп, так как наелся сахару перед обедом, опрокинул стакан с киселём и размазал кисель по скатерти, стараясь собрать его обратно в стакан. Всё это такие вещи, которые трудно не сделать, а сделав, невозможно исправить. Никто же нарочно чашку не разбивал, и никто со злым умыслом не размазывал кисель по скатерти, и никто не рвал одежду специально для того, чтоб доставить неудовольствие родителям. Всё это происходило случайно или по необходимости. Попробуйте, например, удержаться, чтоб не крутить швейную машинку, когда можно покрутить, или не сунуть в рот кусок сахару, когда так хочется сладкого. И попробуйте не промочить ноги, когда вам нужно лазить по болоту. А однажды я положил измокшие сандалии (совершенно новенькие, между прочим, только что купленные) для просушки в духовку, а они там изжарились: стали твёрдые, словно костяные, так что ими можно было забивать гвозди, но уж никак не надевать на ноги. Разве я знал, что так выйдет? А в другой раз я упал в бочку с водой. Я полез вслед за братом на крышу сарая и сорвался со стремянки. А бочка стояла рядом. Ещё хорошо, что она была лишь наполовину наполнена водой. Поэтому я промочил только штанишки.

От таких случайностей никто не застрахован, и тут хоть бей, хоть не бей, а ничего не изменится. В итоге мать продолжала жаловаться на нас отцу, отец по временам брался за полотенце, сопел носом и гонялся за нами по комнатам.

Результат от всего этого какой-то был, безусловно. Однако ж не тот, которого ждали. Постепенно мне становилось ясно, что мой добрый великан не такой уж добрый и не такой уж великан, если сказать по чести. В свете всей этой суетни, беготни и сопения носом его величие как-то тускнело в моих глазах. Я, безусловно, видел, что человек он, в общем, добродушный, добросердечный, но убеждался также и в том, что он может быть не только добрым, но и злым, даже страшным по временам. И он уже не был для меня каким-то чудом. И я уже не ждал его приезда с таким нетерпением, как раньше, а вернее сказать, даже вовсе не ждал – без него было спокойнее.

Кстати, тогда я уже в том возрасте, когда ребёнок начинает замечать, что взрослые люди, хоть они и взрослые, состоят не из одних достоинств, а также и из недостатков.

Отец мой не любит, например, делать что-либо в спешке, и ему приходится иной раз платить дань этой своей неторопливости. По утрам он любит поваляться в постели, и, если ему нужно с утра ехать в Киев, он не встанет пораньше, а поваляется, как обычно, но, поскольку к отходу поезда нужно поспеть на станцию вовремя, он придумал пить чай на ходу. Шагает себе не спеша по дорожке. В одной руке у него чаш-



ка, из которой он прихлёбывает чай, в другой руке бутерброд, от которого он по кусочку откусывает. Как раз к тому времени, когда он подходил к калитке, чай оказывался выпитым, бутерброд – доеденным. Тут же раздавался гудок приближавшегося к станции поезда. Услышав гудок, отец кидал пустую чашку в специально выкопанную для этой цели яму возле забора и, выскочив из калитки, бросался бежать как сумасшедший к железнодорожной станции, которая была в конце улицы. На поезд он садился уже на ходу или перед самым его отходом. Немудрено было и опоздать в такой ситуации, но обычно ему все сходило с рук. Только один раз, насколько у меня осталось в памяти, произошла, как принято говорить, осечка.

Однажды отец ушёл на поезд, сказав, что вернётся из Киева лишь завтра, так как у него были там какие-то дела. Мать была занята по хозяйству, а мы с братом, почувствовав свободу, решили покататься по комнате на швейной машине. Эта машина была ножная, то есть такая, механизм которой приводится во вращение ногами. Внизу у машины были колёсики, на которых её можно было перекатывать по полу с места на место. Колёсики эти были маленькие и вертелись плохо. Машина к тому же была тяжёлая. Её и с места можно было сдвинуть с трудом. И всё же, поскольку были колёсики, брату пришла в голову мысль катать друг друга на этой машине. Решено было, что сначала он покатает меня, потом я его. Подставив стул, я вскарабкался на машину и усел-

ся на ней верхом, а брат принялся толкать машину сзади. Несмотря на невероятные усилия, машина двигалась со скоростью садовой улитки. Могу удостоверить, что езда на такой скорости не доставляет никакого удовольствия и недостаток скорости в таких случаях следует дополнять избытком воображения. Сейчас уже не могу сказать, сколько понадобилось времени и усилий, чтобы выкатить машину на середину комнаты.

Но тут как раз отворилась дверь, и в комнату вошёл отец. Уже сам вид его не предвещал ничего доброго. Лицо было сердитое. Усы топорщились. Схватив брата за руку, он надавал ему по шее, потом стащил меня с машины и тоже надавал по шее, после чего поставил машину на место.



С плачем мы выбежали во двор, и брат сказал, вытирая кулаком выступившие на глазах слёзы:

– Чего это он? Ведь он сказал, что вернётся из Киева завтра.

– Ну, – ответил я, разводя руками, – совпадение.

Мне как раз пришёл на память случай, когда отец вернулся раньше, чем его ждали, и тогда это было названо совпадением.

– Ты дурак, – ответил мне брат, потирая ушибленное место. – Никакого совпадения здесь нет, потому что он вовсе и не ездил в Киев.

– А куда он ездил?

– Да никуда, – ответил с презрением брат. – Каждый дурак догадается, что никакой дурак не успеет за такое время доехать до Киева и вернуться обратно. Просто он опоздал на поезд.

Так оно, конечно, и было. Отец опоздал на поезд и с досады отколотил нас. Вообще он наказывал нас под горячую руку, давая выход накопившемуся раздражению, а не для нашей, как говорится в таких случаях, пользы.

То, что я рассказываю, – лишь отдельные случаи. Обида проходит, как проходит боль. На тех, кого любишь, нельзя долго сердиться. И да не подумает никто, что у меня было несчастливое детство. Я был счастлив хотя бы уж тем, что меня никогда не воспитывали при помощи наказаний. Меня никто никогда не ставил в угол или на колени, не оставлял без обеда или без сладкого, не заставлял сидеть в душевной комнате, когда так хотелось побегать на свежем воздухе

во дворе, и т. д. Если мне иногда и влетало, то это можно было рассматривать лишь как случайность, непредвиденное обстоятельство или стихийное бедствие вроде наводнения или землетрясения, от чего не убережёшься и на что нельзя сердиться, как нельзя сердиться на угол стола, о который ушибся.

# Волшебные сказки

Читать я научился в пятилетнем возрасте. Причём меня никто не учил. Учили моего старшего брата, а возле него и я выучился.

У отца был свой собственный метод обучения грамоте. Он не раз говорил, будто сам учился читать по вывескам на магазинах, и потому, вероятно, считал, что самое важное в этом деле – величина букв. И вот, когда брат выучил азбуку, отец взял газету (она называлась «Новости») и велел брату прочесть название, которое было напечатано самыми крупными буквами.

Брат начал называть подряд все буквы:

– Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и.

– Ну, и что получилось? – спросил отец.

Брат немного подумал и ответил:

– Газета.

– Вот и болван! – рассердился тут же отец. – Читай снова внимательно.

– Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и, – повторил брат.

– Ну, и что вышло?

Брат ещё немного подумал и снова сказал:

– Газета.

– Ну и балбес! Где же ты видишь «газета»? Какие тут буквы? Читай.

– Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и, – в третий раз повторил брат.

– Ну, и что будет?

Брат изобразил на своём лице глубокомыслие и опять сказал:

– Газета.

– Вот балда так балда! – кипятился отец. – Смотри, какая здесь первая буква? Эн?

– Эн, – согласился брат.

– Вторая буква какая?

– О, – потупившись, отвечал брат.

– Правильно! Третья какая?

– Вэ.

– Вэ! Правильно! Вэ! – подхватил отец. – Дальше какая?

– О.

– О! – завопил отец. – О! Правильно. Дальше!

– Эс.

– Эс. Дальше.

– Тэ.

– Так, правильно! Тэ. И последняя буква какая?

– И.

– И! – торжествующе закричал отец и хлопнул рукой по газете. – Что вместе будет?

– Газета, – буркнул угрюмо брат.

Я сидел тут же и смотрел на всё происходившее как на какое-то состязание, в котором ни один из соперников не хотел уступать победу другому. Отец обзывал брата последова-

тельно балдой, балбесом, дубиной, пентюхом и ослом, но не мог от него добиться другого ответа. Брат же, очевидно, не совсем понимал (или, вернее сказать, совсем не понимал), что от него требовалось, и, должно быть, воображал, что, повторяя одно и то же, он может каким-то образом переубедить отца. К тому же совершенно ясно было, что перед ним лежала именно газета, а не, к примеру сказать, одеяло или садовая лейка.





Вместе с тем, судя по той горячности, с которой отец

принимал его ответы, видно было, что написано не «газета», а что-то другое. И я почему-то вспомнил, как иной раз, проснувшись поутру, отец спрашивал: «Принесли “Новости”?» Он любил иногда почитать газету в постели. И вот, когда, уже не помню в какой раз, отец заставил брата повторить все эти буквы: «Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и» – и спросил, что получится, я потихоньку сказал:

– Новости.

Что тут было!

– Правильно! «Новости»! – закричал отец. – Смотрите, что делается: Колька маленький, а уже научился читать. А его ведь и не учил никто! Как же это ты сумел, а?

Он тут же усадил меня рядом за стол и велел прочесть какое-то совсем маленькое слово: не то «каша», не то «Ма-ша», сейчас уже точно не помню, и был очень удивлён, когда я не смог это слово прочесть. Буквы я, как и брат, называл правильно, а когда отец спрашивал, что получилось, я только и мог сказать:

– Не знаю.

– Как? – закричал отец, потеряв терпение. – Такое слово, как «Новости», ты сумел прочесть, а тут пустяк прочитать не можешь! Э, так ты, значит, не прочитал, а просто угадал, что там написано «Новости»!

Он прогнал из-за стола и меня, и брата.

Мы побежали гулять. Но меня всё время сверлила мысль, как это я догадался, что на газете написано «Новости».

То есть для меня было ясно, что я догадался, так как знал, что газета называется «Новости», но вот как из букв получается слово – в этом была какая-то тайна.

Вечером я взял газету, развернул её на том месте, где было напечатано крупными буквами «Новости», положил перед собой и крепко задумался. Я думал над тем, как из букв получается слово «Новости». В том, что должно получиться именно это слово, сомнения не было. Но вот вопрос: как? Мне словно нужно было решить задачу, когда ответ известен, а самого хода решения никто не знает.

Я твердил про себя подряд все буквы: «Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и» – и ломал голову, как же из них получается слово «Новости». Ведь если складывать, приставляя как бы вплотную друг к дружке все эти буквы, то должно получиться какое-то чудачье, непонятное слово «Эновэоэстэи», совсем непохожее на слово «Новости». Я то и дело повторял это «Эновэоэстэи», и мне постепенно стало казаться, что оно все же чем-то смахивает на слово «Новости», только его вроде как бы произносит какой-то косноязычный, криворотый человек со свёрнутой набок челюстью. А то ещё такие люди бывают, подумал я, которые ничего не могут сказать без того, чтоб вначале не протянуть: «Э-э». Это «э-э» нужно им как бы для разбега, без которого они никак не могут заговорить. Вот и тут: если написано «Новости», то к чему же вначале «э»?

Я попробовал отбросить это начальное «э», и вме-

сто «Эновэозэстэи» у меня стало получаться «Новэозэстэи». Это уже показалось мне больше похоже на то, что требовалось. Однако и сквозь это слово как бы проглядывал косноязычный человек, у которого рот устроен так, что он ничего не может сказать, чтоб не сунуть куда надо и куда не надо это противное «э».

Я попробовал держать рот поровней и поуже, так, чтобы при чтении звук «э» не выговаривался, и, когда я прочитал слово таким способом, у меня получилось не что иное, как «Новости». Я почувствовал, что нахожусь на верном пути. «Э» явно здесь лишнее. И у меня мелькнула мысль, что буквы, должно быть, имеют свои имена или названия. При чтении названия не произносятся полностью, а произносятся лишь частички этих названий. Например: «эн» — это название буквы, а при чтении «э» отбрасывается, а выговаривается только «н». У буквы «тэ» опять же отбрасывается «э», а произносится «т».

Я заволновался вдруг. Меня охватило какое-то непонятное чувство. Такое чувство, наверно, испытывает учёный, находящийся на пороге величайшего открытия. Он и рад, и в то же время боится: вдруг его теория или гипотеза окажется ошибочной. Для того чтобы убедиться в правильности своей гипотезы, ему нужно проверить её: поставить эксперимент.

Какой же эксперимент я мог поставить? И я сразу же догадался, что надо попробовать прочитать какое-нибудь новое, незнакомое слово с помощью вновь открытого мною спосо-

ба. Я прочитал попавшееся мне на глаза слово в газете, и получилось «утро». Не какое-нибудь неизвестно что обозначающее «утээро», а утро, которым начинается каждый день. Я прочитал ещё слово, и получилось «нога». Опять же не какая-то непонятная «эногэа», а самая обыкновенная, самая настоящая человеческая нога.



С этого момента я уже не мог остановиться и принялся за «чтение», то есть прочитывал отдельные слова, где бы они ни попадались мне: в книжке, в газете, на коробках с чаем, кофе или конфетами, на бутылках с уксусом или ква-

сом, на вывесках магазинов... Радовался я этим словам, как встрече с добрыми старыми друзьями. В каждом из них было что-то знакомое, близкое. Трудности, конечно, на первых порах были, но я их преодолевал и через несколько дней уже вполне сносно читал.

К тому времени и брат одолел словесный барьер, то есть научился складывать из букв слова. Мы оба могли читать. Дядя Володя (брат отца) подарил нам по книжке. Это были два довольно толстеньких, красивых томика издававшейся в дореволюционное время «Золотой библиотеки», на обложке которой в круглой рамке были изображены маленькие мальчик и девочка, склонившиеся над книгой. Томик, подаренный мне, назывался «Чудо-сказки», а другой, подаренный брату, – «Волшебные сказки».

В тот же день я принялся читать свои «Чудо-сказки» и уже не отходил от книги, пока не дочитал до конца, после чего засел за «Волшебные сказки». В моих представлениях о нашем странном мире, в котором мы с вами живём, произошёл огромный скачок. Всё как бы переменялось вокруг. Оказалось, что, кроме обыкновенных людей, которых я знал, существуют ещё какие-то сказочные короли и королевы, принцессы и принцы, добрые и злые волшебники и волшебницы, феи и эльфы, колдуны, оборотни, ведьмы, великаны, люди, наделённые разными сверхъестественными способностями. Я узнал, что на свете существуют такие вещи, как волшебные палочки, шапки-невидимки, ковры-самолёты, сапоги-скоро-

ходы, а вокруг нас постоянно творятся волшебства и чудеса. Я снова и снова перечитывал эти сказки и ходил как зачарованный, не понимая, что со мной делается.

Так началась моя дружба с книгой.



# Неравноправие

Видя, что в деле освоения грамоты я не отстаю от брата, родители решили отдать нас в гимназию одновременно. В результате мы оба стали ходить к учительнице, которая взялась подготовить нас в подготовительный класс. Звали учительницу смешно: Павла Аполлинариевна. Она почему-то вообразила, что при поступлении в гимназию будет экзамен по французскому языку. Пришлось нам, помимо прочих предметов, учить ещё и французский язык. Никакой особенной премудрости здесь, впрочем, не было. Некоторые французские буквы, как «а» или «о», например, были такие же, как и русские. Даже некоторые французские слова были похожи на наши. «Лампа», например, по-французски будет «ля лямп», «линейка» – «ля линеаль», «самовар» – «ле самуар», а «утка» – почему-то «ле канар». Всё это не представляло для меня трудности, хотя и не понадобилось на экзамене.

Говорили, что в обычную, государственную, гимназию нас не возьмут, так как туда принимали только детей дворян. Но мы могли поступить в частную гимназию, куда принимали и недворян. К тому времени я уже знал, что люди бывают богатые и бедные. В Ирпене у нас был лесопильный завод, принадлежавший богатому немцу, фамилия которого была Ганс. Был кирпичный завод, принадлежавший богачу Сага-

товскому. По соседству с нашим участком были огромнейшие заливные луга, владельцем которых был богач Пинский. Эти луга так и назывались – «болота Пинского». На высоком берегу реки Ирпень стояла красивейшая двухэтажная каменная дача, принадлежавшая киевскому фабриканту дрожжей богачу Чоколову. Таким образом, о богачах я уже имел какое-то представление. Но я впервые слышал о том, что существуют люди, которые считаются благородными, которым было позволено то, что не позволялось другим, неблагородным или вроде как бы нечистопородным людям. Благородные были дворяне, неблагородные – мещане или ещё того хуже – крестьяне.

Быть таким вот неблагородным или вроде как бы нечистопородным казалось обидно. Пожалуй, даже обиднее, чем быть бедным. В конце концов богатым мог стать и бедный, если б каким-нибудь путём разжился деньгами.

«Стать богачом нетрудно, – любил говорить мой отец, – нужно только узнать, как это делается».

А вот стать дворянином было нельзя. Дворянином надо было родиться, то есть надо, чтоб родители твои были дворянами. Если же родился недворянином, то тут хоть пищи, а ничего не выйдет. Так тебе всю жизнь и будут твердить:



«Не суйся с суконным рылом в калашный ряд».

Сознавать это было унижительно. И стыдно было за людей, которые придумали это деление на благородных и неблагородных да ещё чванятся перед другими своей чистопородностью, словно псы на собачьей выставке, одним из которых дают медали за то, что у них морда на пять сантиметров короче, чем нужно, а другим за то, что у них уши такой длины, что по земле волочатся. Конечно, в те годы сформулировать свои мысли я ещё не умел, но нутром, так сказать, чувствовал, что это несправедливо и даже смешно.

Отец мой дворянином не был, так как родился в простой мещанской семье, богачом же не стал, видать, потому, что так и не узнал, как это делается. По профессии он был актёром или, вернее сказать, артистом, а если сказать совсем точно – эстрадным артистом, певцом.

В дореволюционные годы на эстраде существовал так называемый квартет «сибирских бродяг». Все четверо участников этого квартета (и отец в том числе) одевались в ветхую, изорванную одежду, покрытую всевозможнейшими заплатками, обувались в крестьянские лапти, изображая собой арестантов, бежавших с каторги и пробиравшихся сквозь дебри сибирской тайги к себе на родину. Нарядившись в такую живописную рвань, артисты выходили на сцену и пели про то, как «глухой неведомой тайгою бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», или популярнейшую

в те времена «Дубинушку» и другие «Песни тюрьмы и воли», как значилось на афише.

Этой своей артистической, «бродяжьей» деятельности отец отдавался до самозабвения. Он был участником Русско-японской войны 1904–1905 годов и, таким образом, дважды пересек всю Сибирь, то есть когда отправлялся на войну и когда ехал обратно. Для него остров Сахалин, сибирская тайга, озеро Байкал и забайкальские степи, о которых пелось в песнях, были не звук пустой, а что-то близкое, осязаемое, то, что он видел своими глазами, что составляло как бы частицу его собственной жизни, частицу его души. Чувство тоски по родине и жажда свободы, испытываемые каторжниками и ссыльными, томящимися в неволе, или бродягами, рвущимися обратно в «Расею», чтобы хоть одним взглядом взглянуть на родные места, прижать к своему истосковавшемуся сердцу близких, были в какой-то степени пережиты и им самим за годы царской солдатчины. И он на чужбине скучал по родным местам, по своим близким, страдал от разлуки со своей невестой, своей будущей женой – моей матерью, с которой обручился перед отправлением на войну. Рассказывая о случаях из своей солдатской жизни, о боях, в которых он участвовал в Порт-Артуре, на Сахалине или в Маньчжурии, он всегда вспоминал, как одолевала его тоска, как ему хотелось поскорей вернуться домой.



Его второе путешествие через Сибирь после окончания Русско-японской войны совпало с разгаром революционных событий 1905 года. Отец с воодушевлением и с какой-то мальчишеской радостью рассказывал о революции, которую видел своими глазами. И он говорил, что революция не победила в тот раз, но она вспыхнет снова и победит. И тогда будет свобода: не будет ни царя, ни дворян, ни богатых, ни бедных, все люди будут равны между собой и всем будет хорошо.

А пока... пока по-прежнему был царь со своими тюрьмами и всякой неволей. А у народа были «песни тюрьмы и воли», в которых только и говорилось, что о кандалах, о цепях, о каменных острогах, о железных решётках, за которыми изнывали люди, жаждавшие свободы:

Солнце всходит и заходит,  
А в тюрьме моей темно:  
Дни и ночи часовые  
Стерегут моё окно.

Или:

По диким степям Забайкалья,  
Где золото роют в горах,  
Бродяга, судьбу проклиная,  
Тащился с сумой на плечах.

Неспроста поётся в этой песне про золото. Сибирь в те времена – это страна золота и... проклятий.

Отец часто рассказывал о работах на золотых приисках, где ему пришлось побывать, о встречах в тайге с золотоискателями, или старателями, как их называют в Сибири. Он и сам попытал счастья, бродя с тазиком по берегам одной из таёжных золотоносных речушек. Намытое им ради сильных ощущений, как он говорил, золотишко (золотой песок) хранилось в шкатулке с разными безделушками на дне крошечного флакончика из-под духов с хорошо подогнанной пробкой. С виду это была просто щепотка песка, но не светлого, как на берегу реки, а темноватого, не просвечивающегося. Когда дома никого не было, мы с братом доставали из шкатулки флакончик и разглядывали золото. Если посмотреть на золотые песчинки в увеличительное стекло, то они становились крупнее, а при некотором усилии воображения превращались в настоящие самородки, светившиеся как бы изнутри магическим золотым цветом. Вот она, романтика! Вот оно, золото, на которое человечество затрачивает столько стараний и которому шлёт столько проклятий.





Песни, исполнявшиеся квартетом «сибирских бродяг», были очень созвучны эпохе. В них отражались общественные настроения предреволюционных лет. И конечно же именно поэтому квартет «сибирских бродяг» пользовался большой известностью. Он выступал во многих городах тогдашней России и везде имел шумный успех. Весь или почти весь его репертуар был записан на граммофонных пластинках. Тогда ни радио, ни телевидения ещё не было, но граммофон уже был.

Кончилось дело, однако, тем, что на эти бродяжки «песни тюрьмы и воли» обратила внимание царская цензура. Кто-то в цензурном комитете будто бы сказал: «Что это ещё за песни тюрьмы? Кому нужно слушать песни тюрьмы? И какая

ещё там воля? Чтоб никакой воли и духу не было!» В результате исполнять эти песни было запрещено, и квартет «сибирских бродяг» прекратил своё существование. Не знаю, как устроились другие члены квартета, а отцу удалось поступить на работу плотником в киевские железнодорожные мастерские. Там он делал деревянные лопаты для очистки железнодорожных путей от снега, а в летнее время, когда увеличивалось движение пригородных поездов, работал кочегаром на паровозе.

Обстоятельства сложились так, что меня и брата могли совсем не принять в гимназию, даже в частную, так как теперь мы были дети простого рабочего. Отец, однако, придумал выход из положения.

– Зачем мне говорить, что я рабочий? Буду говорить, что я домовладелец. У меня дом есть. Так и в анкете буду писать.

– Уж ты выдумаешь! – сказала мать. – Домовладелец – тот, у кого большой дом с квартирами, которые он сдаёт жильцам за плату. А у тебя какой дом?

– Будто кто-то поедет смотреть, какой у меня дом, – возразил отец. – Может быть, у меня тут дом в пять этажей.

– Это в Ирпене-то! Пять этажей! – ужаснулась мать. – Скажи ещё, что у тебя небоскрёб тут.

– И скажу.

– Сумасшедший! – с иронией отвечала мать.

С прекращением деятельности квартета заработок отца значительно уменьшился. Семья же наша к тому времени

увеличилась. Кроме старшего брата, у меня уже была сестра младше меня на четыре года и брат младше на пять лет. Прокормить семью из шести человек да ещё платить за обучение нас двоих в гимназии было отцу не по средствам. Поэтому решено было наш дом в Ирпене продать и нанять квартиру в Киеве. Всё равно мы с братом не могли ежедневно ездить на занятия из Ирпеня в Киев. Да и отцу было удобнее жить в Киеве, чтоб не тратить каждый день время и деньги на поездки по железной дороге.

– Как же ты будешь говорить, что ты домовладелец, если решил продать дом? – сказала мать.

– Ну, пока я не продал дом, буду говорить, что домовладелец, – ответил отец. – А когда продам, буду говорить, что торговец, торгую домами: один дом продал, куплю другой, а другой тоже продам.

– Тогда уж лучше говорить, что ты какой-нибудь маклер или же аферист.

– Что ж, это идея, – согласился отец. – У нас к какому-нибудь аферисту больше доверия, чем к рабочему человеку.



# Выдержал экзамен

Наконец наступил день, когда нам с братом надо было ехать в Киев для сдачи вступительных экзаменов в гимназию. Ещё накануне брат был совершенно здоров, но, проснувшись утром, он только приподнялся на постели и тут же опустил голову на подушку.

– Вставай, одеваться пора, – поторопила его мать.

– Головка болит, – жалобным голосом отозвался брат.

Мать подошла, приложила ладонь к его лбу.

– По-моему, у него жар, – встревоженно сказала она отцу.

Отец подошёл и тоже приложил ладонь ко лбу брата.

– По-моему, жара нет, – сказал он, пожав плечами.

– Отчего же голова болит? – возразила мать.

– Очень болит? – спросил отец.

– Очень, – подтвердил брат и страдальчески поморщился.

– Может быть, простудился, – сказал отец, продолжая растерянно пожимать плечами. – Как же теперь с экзаменом быть?

– Ну какой тут экзамен, когда ребёнок болен! – ответила мать. – Договорись на потом как-нибудь.

Мать всегда очень терялась, когда у кого-нибудь из нас появлялись признаки заболевания. В перспективе ей чудились самые губительные болезни: скарлатина, дифтерит, тиф, холера...

Нечего делать, отец повёз на экзамен одного меня. Ехать нужно было сначала поездом, потом трамваем через весь Киев, от трамвая пешком до Рыльского переулка, где находилось пятиэтажное здание гимназии. Самого этого путешествия я не запомнил, возможно, потому, что и раньше иногда ездил с отцом или с матерью в Киев. Запомнился мне почему-то класс, в котором происходил экзамен: огромная (непривычно огромная для меня), скучная комната с высоким белёным потолком, такими же белёными стенами, только в нижней части окрашенными до высоты человеческого роста клеевой краской в красновато-коричневый цвет. Три огромных, высоких окна, чёрная доска на стене, несколько рядов чёрных парт. В то время я даже не знал, что такое парта и как нужно сидеть за ней. Но другие ребята селились. Сел и я.

Запомнилось мне также общее впечатление от ребят. Я никогда раньше не видел такого большого количества мальчишек за один раз. Меня удивило, что все они разные и какие-то вроде бы не такие, как надо. У одного были слишком толстые, выпяченные вперёд губы; другой был слишком курносый; у третьего были какие-то нелепо торчащие в стороны уши несколько большего размера, чем полагалось, на мой взгляд, по норме; у четвёртого было неестественно бледное лицо с узко поставленными чёрными глазками и съехавшимися на переносице бровями; у пятого лицо было красноватое, словно поджаренное, сам же он будто и не заме-

чал, что ходит в таком поджаренном виде; у шестого на лице словно застыло выражение удивления: брови как бы сами собой лезли на лоб, а рот постоянно был чуточку приоткрыт; седьмой как-то осовело смотрел по сторонам сквозь узенькие щёлочки глаз, будто вот-вот собирался заснуть...



Впоследствии я заметил, что все эти мелочи в челове-

чьем облике обычно бросаются в глаза лишь с первого взгляда, но потом, при более близком знакомстве, их перестаёшь замечать, и люди начинают казаться нам более обыкновенными, более естественными или, вернее сказать, более привычными. Тогда уже больше обращаешь внимание не на их внешний вид, а на их привычки, склонности, замашки или характер, то есть начинаешь видеть уже не только внешность, но и внутреннее содержание человека.

Приёмные испытания я выдержал с полным успехом. В диктанте по русскому языку не сделал ни одной ошибки. Точно так же, без ошибок, решил по арифметике все заданные примеры на сложение, вычитание, умножение и деление. На экзамене по Закону Божию вполне исправно отбормотал молитву «Отче наш». И на этом всё кончилось.

Отец радовался, как дитя малое, словно я совершил какой-то героический подвиг. Из гимназии мы шли по улице. Он крепко держал меня за руку, называл Коленькой, Колюхой, говорил, что я молодчина, что мне всего шесть лет, а я уже гимназист. Мне и вправду не исполнилось тогда и семи лет, знания же, требовавшиеся для поступления в подготовительный класс, соответствовали приблизительно знаниям окончившего второй класс теперешней школы. Широко шагая по тротуару, отец дёргал меня за руку, в результате чего я совершал гигантские прыжки. Мне казалось, что отец и сам готов запрыгать от радости.

Потом мы ехали на трамвае, на поезде. Отец понемногу



угомонился, но время от времени он как бы спохватывался, вспоминая о счастливом событии этого дня, широко улыбался и гладил меня рукой по голове. Когда, сойдя в Ирпене с поезда, мы подошли к нашей калитке, первое, что я увидел, был брат. Он бродил по двору возле пруда и старательно сшибал палкой колючки с чертополоха. Увидев его, отец как-то многозначительно крикнул и, не сказав ни слова, зашагал к дому. Я же подбежал к брату и закричал, ликуя от радости:

– Я экзамен выдержал!

– Вот и дурак! – ответил брат, продолжая сшибать палкой колючки.

На его лице не отразилось ни радости, ни печали по поводу того, что я выдержал экзамен.

– Почему дурак? – озадаченно спросил я.

– Потому что будешь теперь как дурак ходить каждый день в гимназию. Понял?

– А ты разве не будешь? – удивился я.

– Зачем же я буду ходить? Я не дурак, – сказал брат. – Я ведь не сдавал экзамен. А в гимназию без экзамена не берут.

– Ты ведь заболел, – сказал я.

– Ты дурак, – ответил брат. – Я вовсе не заболел. Я так просто сказал, что заболел, чтоб на экзамен не ездить.

Тут только я понял, какую совершил глупость, не догадавшись прикинуться больным и увильнуть от экзамена, как это сделал брат. Расстраиваться по этому поводу было поздно,

но настроение у меня было испорчено, и я, понурившись, побрёл домой.

Впрочем, как выяснилось позже, если бы я даже догадался прикинуться больным, это меня не избавило бы от гимназии. Дня через два или три отец, вставши поутру и увидев, что брат с аппетитом позавтракал и уже вышел из-за стола, спросил:





– Ну как, сегодня у тебя не болит головка?

– Ничего не болит. Пойду гулять, – беспечно отвечал брат и вприпрыжку побежал к двери.

Но отец остановил его:

– Тогда собирайся. Поедем сдавать экзамен в гимназию.

Оказывается, отец узнал, когда можно дополнительно сдавать экзамен, но брату решил ничего не говорить заранее, а сказать в то утро, когда нужно будет ехать, чтоб понапрасну его не волновать. Чудаки родители вообразили, что в прошлый раз он заболел, переволновавшись в ожидании экзамена.

Таким образом, брат ничего не выгадал. Он выдержал экзамен, как я, и мы оба сделались гимназистами.

Фамилия владельца нашей гимназии была Стельмашенко,

в силу чего учащихся этого учебного заведения звали стельмашенковцами, стельмашаковцами или же просто стельмашаками. Форма у нас была такая же, как и у остальных гимназистов, то есть синевато-серые гимнастёрка и брюки и синяя фуражка, украшенная кокардой. По этой кокарде легко было отличить стельмашенковца от учащегося любой другой гимназии. У всех других гимназистов на кокарде была изображена цифра, обозначающая номер гимназии, в которой он учился. У нас же на кокарде вместо цифры была буква «С», то есть начальная буква фамилии Стельмашенко. Таким образом, с этой буквой на лбу мы ходили как бы клеймённые, и нередко на улице можно было услышать по своему адресу: «Вон стельмашака идёт!»

Не знаю, как другим, а мне лично это казалось обидным.

## Я узнаю о тайне

Наш милый уютный беленький домик с зелёной крышей был продан отцом человеку по фамилии Елисеев. Этого Елисеева я ни разу в жизни не видел, но, так сказать, заочно невзлюбил его за то, что он купил наш дом. У меня было такое чувство, будто он не купил, а отнял у нас наше пристанище, наше гнездо. Мне была нестерпима мысль, что в доме, где всё мне казалось таким близким, словно слившимся со мной самим, поселится теперь кто-то чужой, а нам даже нельзя будет прийти сюда и взглянуть на родной очаг.



До этого я не знал, что дом можно продать или купить, словно какую-нибудь тыкву, буханку хлеба или кусок кол-

басы. Акт купли-продажи представлялся мне в таком виде. Покупатель приходит в магазин или на рынок, даёт продавцу деньги, получает нужную ему вещь и уходит, унося покупку с собой. Когда начались разговоры о продаже дома, у меня в голове зашевелилась глупая мысль: «Как же он (то есть тот, кто купит наш дом) унесёт его? Разве можно унести дом?»

Скоро я понял, что, когда продаётся дом, покупатель приходит, платит деньги, но уже не уходит, а вместо него уходит продавец.

Продавая дом, отец решил не продавать вместе с ним весь земельный участок, а продать только ту половину, где находился дом. Другую половину отец решил оставить себе, надеясь впоследствии, когда позволят обстоятельства, построить новый дом. Для меня было новостью, что можно продавать не только дома, но и саму землю. Мысль об этом никак не укладывалась в моей голове. Продавать землю, казалось мне, всё равно что продавать воздух, который нужен всем и которым вправе пользоваться все в одинаковой мере.

Я уже привык к мысли, что земля, на которой стоял наш дом, была наша... Хотя нет! Вру. Вернее, я просто не думал, чья эта земля и принадлежит ли кому-нибудь вообще. Вместе с тем во мне жило какое-то чувство, подсказывавшее, что наряду с вещами, которые могут принадлежать кому-нибудь лично, существуют вещи, принадлежащие всем, иначе говоря, находящиеся в общем пользовании, как, например, улица или река. Каждый мог ходить на реку: любоваться её

красотой, купаться, кататься на лодке или просто валяться на песчаном берегу, загорая на солнышке. И никому не следовало поступать подобно дрожжевому фабриканту Чоколову, который велел огородить свою дачу так, что забор подходил к самой реке. Дача стояла на вершине холма, а забор спускался всё ниже по косогору и, подойдя к реке, уходил ещё метра на три в воду. Проникнуть на берег реки по ту сторону забора уже было нельзя, так как это значило бы забраться на чужую дачу, по которой разгуливали два здоровенных свирепых пса. Как раз в том месте река делала крутой поворот, образуя как бы залив, поросший по краям камышом и белыми кувшинками с огромными, круглыми, плававшими на поверхности воды тёмно-зелёными листьями, а на берегу стояли, склонившись над рекой, плакучие ивы с длинными, свисающими к самой воде ветвями. Казалось, там, за забором, было самое красивое место на всей реке. И почему-то страшно хотелось туда. И каждый раз, когда я видел этот забор, мною овладевало неприятное чувство: словно на меня надевали ошейник или намордник или ни с того ни с сего сажали в клетку, как кролика. Я думал, что если каждый станет подобным образом захватывать себе место возле реки и огораживать его забором, то останется множество людей, которым места на берегу не хватит, и они не смогут не то что купаться или кататься на лодке, — не смогут даже прийти, чтоб взглянуть на реку, потому что вокруг будут одни заборы. Жизнь этих людей представлялась мне безрадостной

и унылой. И я очень жалел их, этих людей. Вот какие мысли внушало мне моё разбушевавшееся воображение, когда я видел этот идиотский забор, а видел я его часто, так как он находился возле самого посещаемого места на реке: рядом с пляжем, недалеко от лодочной пристани.

Помню, отец, продавая дом, долгое время не мог договориться с Елисеевым относительно того, какая часть земли отойдёт ему вместе с домом. Отцу обязательно хотелось, чтобы колодец остался целиком на нашей части земли. Елисееву же хотелось, чтоб граница между обоими участками проходила по колодцу, то есть так, чтобы воду можно было брать как с той, так и с другой стороны. В этом был определённый разумный смысл. Известно, что вода в колодце тем чище, чем чаще из него берут воду. Если воды берут мало, она медленно обновляется, в колодце заводятся личинки комаров и других насекомых, а вслед за ними лягушки, для которых эти насекомые и их личинки служат хорошей пищей. А кому же интересно пить воду из колодца с лягушками! Неспроста многие соседи сооружают один общий колодец на границе своих владений. Некоторые даже делают колодец перед домом, на улице, чтоб и живущие поблизости могли пользоваться водой. В таких колодцах вода обычно бывает хорошая, как говорят – «вкусная».





Однажды, когда мать доказывала отцу разумность такого решения, он обронил фразу:

– Ты же знаешь – тайна на дне колодца...

Я, случайно вертевшийся поблизости, тут же пристал к отцу с расспросами, какая тайна.

Он сказал:

– Тайна – это то, чего никто не должен знать, иначе она не была бы тайной. Так что ты держи язык за зубами и о том, о чём слышал дома, не вздумай нигде болтать. Понял?



Я ответил, что понял. Но с тех пор меня прямо-таки распирало от желания рассказать кому-нибудь, что у нас в колодце есть тайна. От этого желания язык так и корчился у меня во рту, вроде как бы чесался. Для начала я рассказал о тайне колодца брату, который не слышал нашего разговора.

Брат сказал:

– Раз мы не знаем, какая тут тайна, то надо сперва узнать, что это за тайна. Может быть, это какая-нибудь тайная тайна,

которую надо держать в тайне, потому что если всякий дурак поймёт, что эта тайна – уже не тайна, а такая тайна, которая известна каждому дураку.

Поделившись тайной с братом, я почувствовал некоторое облегчение, словно переложил часть тяжести на его плечи. Язык уже не так корчился у меня во рту. Мы побежали к колодцу и стали разглядывать, что там на дне. Однако ничего, кроме двух-трёх лягушек, мне лично разглядеть не удалось. То, что в колодце живут лягушки, не было для нас тайной. Мы знали, что отец время от времени принимался чистить колодец, то есть вычерпывал из него воду и вылавливал лягушек, спустившись вниз по лестнице.

Сделав своё открытие, мы побежали домой, и брат тут же доложил отцу, что в колодце опять завелись лягушки.

– Много? – спросил отец.

– Четыре, – ответил брат. – В каждом углу по штуке.

– А с чего это вы вздумали смотреть в колодец? – вскинулся вдруг отец.

– Мы хотели проверить, есть ли там лягушки, – не моргнув глазом ответил брат.

– Гм! – сказал отец и метнул понимающий взгляд в мою сторону.

Он, однако ж, ничего не сказал мне, только сердито засопел носом и усы у него ошетинились.

После всех переговоров отец согласился провести границу между нашими владениями и елисеевскими по колод-

цу, то есть так, чтобы обе суверенные договаривающиеся стороны в равной степени имели доступ к воде. Поделившись с соседом колодцем, отец, однако, не поделился с ним тайной. Тайна так и осталась тайной. Сколько мы с братом ни торчали возле колодца, сколько ни смотрели на дно, тайна не открывалась. Потом почему-то мы стали думать, что отец верит, будто этот колодец должен или может принести ему счастье. Ведь бывают такие вещи, которые приносят счастье. Вот и этот колодец такой. Сначала мы с братом по секрету от всех называли колодец тайным, потом стали называть колодцем счастья или просто счастливым колодцем. Постепенно вера в то, что колодец счастливый, укрепилась в нас или мы просто привыкли так думать. Мысль о том, что у нас есть такой тайный счастливый колодец, приносила какое-то удовлетворение. Вселяла надежду. На что? Я даже не знаю сам.

# Разочарование

Переехав в Киев, мы поселились на Глубочицкой улице, которая залегала в глубине огромнейшего оврага, или каньона, как было бы правильное его назвать. По этой улице или (что одно и то же) по дну оврага можно было спуститься из верхней части Киева в его нижнюю часть, расположенную вдоль берега Днепра и называвшуюся Подолом.

Я часто пытался представить себе нашу будущую киевскую квартиру. Мне почему-то казалось, что мы поселимся в большом пятиэтажном доме с балконами, с затейливыми лепными украшениями на стенах, с какими-то чудесными замысловатыми статуями у подъезда или над подъездом (иной раз и не поймёшь, что или кого такая статуя изображала: ангела или демона, «Размышление» или «Задумчивость» или еще какую-нибудь аллегория). Я часто видел такие дома, когда ездил с отцом и матерью в Киев, а потом вспоминал о них как о каком-то чудесном видении. И не было у меня мечты прекраснее в те времена, чем мечта навсегда поселиться в Киеве, где такие замечательные парки, бульвары и скверы, с красивыми оградами и аккуратно подстриженными кустами и деревьями, где дома – словно сказочные дворцы, а по улицам движутся толпы прохожих, скачут во всю прыть рысаки, звенят трамваи, проносятся автомобили, оглашая воздух трубными звуками сигнальных рожков.

Правда, автомобилей было тогда, как говорится, не густо, но они существовали уже и вносили свою долю оживления в кипучую городскую жизнь.

Я был ещё очень мал тогда. У меня не было никакого жизненного опыта, и я не мог знать, что мечты не всегда соответствуют действительности, что за очарованием часто следует разочарование, что планы, которые мы создаём в своём воображении, обычно бывают богаче, чем их воплощение, что мы часто сами не знаем, нужно ли нам хотеть того, чего хочется, и не лучше ли нам хотеть не того, чего хочется, а того, чего и не хочется вовсе.

Дом на Глубочицкой улице, в котором отец нанял квартиру, оказался не пятиэтажный, как ожидал я (или, вернее сказать, как мне хотелось), а одноэтажный, причём какой-то серый, невзрачный, скучный на вид. В нём было всего несколько квартир. И что это за квартиры были! Ступив на небольшое, в три ступеньки, крылечко, вы попадали в холодные дощатые сенцы с решётчатым окном во всю стену до потолка, как обычно делается на закрытых террасках. Из сеней дверь вела прямо в кухню, в левой стене которой прилепилась одним своим боком большая русская печь с огромной чёрной, широко разинутой пастью. Напротив этой пасти было окно, выходившее, однако же, не во двор, а в сенцы, в результате чего в кухне даже в яркий солнечный день было полутемно. Из кухни дверь вела в единственную комнату с единственным окном, смотревшим на улицу.

В эти «хоромы», как насмешливо обозвала нашу новую квартиру мать, мы и переехали со всеми вещами и мебелью во главе с глубокомысленным шкафом и говорливым буфетом, со всеми кроватями, стульями и столами, с сундуком, комодом, швейной машиной, граммофоном, а также с картинами, о которых было известно, что отец привёз их с японской войны. На этих картинах были изображены разные японские виды с неизменно торчащей где-нибудь на заднем плане конусообразной горой Фудзияма. Отец говорил, что японцы иначе не рисуют. Им обязательно надо, чтобы на каждой картине хоть где-нибудь в углу была изображена эта их любимая Фудзияма.



Не поехали с нами лишь чванливые, чопорные кресла и добродушный толстяк диван. Для таких важных персон в нашей новой квартире положительно не было места, и пришлось их оставить до лучших, как говорится, времён в Ирпене, в сарае. Я лично, сказать по правде, расстался с ними без сожаления, поскольку мне всё равно не разрешалось на них сидеть.

Вход в описанную мной квартиру был со двора, если можно назвать двором то, что это слово должно было обозначать. В сущности, никакого двора здесь не было, так как, выйдя из сеней, вы упирались в подножие обрыва, то есть в крутую, почти отвесную стену оврага, на дне которого стоял дом. Чтобы выбраться на улицу, надо было пройти по узкой дорожке между стеной оврага и домом, мимо других таких же, как наша, квартир. Повернув за угол и пройдя вдоль боковой стены дома, вы тут же попадали к деревянным воротам с калиткой. Одним словом, не разгуляешься. Во всём чувствовалось стеснение. Тесно было в доме, тесно было в этом, с позволения сказать, дворе, тесно было и на улице с узенькими, лепящимися прямо к стенам домов тротуарами, шагая по которым только и приходилось глядеть, как бы не налететь на кого-нибудь из прохожих.

Вот когда я пожалел об ирпенском раздолье. С тех пор как мы переехали в Киев, в душе у меня поселилась мечта о возвращении обратно в Ирпень. Да и не только у меня в душе. У всех была такая мечта. Все только и твердили об этом,



больше же всех отец.

«Ничего, – ободряюще говорил он. – Главное то, что у нас в Ирпене земля есть. Раз есть земля, можно построить дом. Вот если бы земли не было, тогда и думать, конечно, нечего. Не в воздухе же дом построишь. А поскольку земля есть, всё можно сделать... Не сразу, конечно, а постепенно, потихонечку, помаленечку: сначала сарайчик построить, а там, глядишь, понемножку и домик... Сразу ведь ничего не делается...»

И он долго мог рассуждать на тему о том, что сразу ничего не делается, что всё делается постепенно, что всё нужно начинать с маленького... Я с удовольствием слушал эти рассуждения. Под них так хорошо мечталось! Отец как бы видел в своём воображении уже готовый сарайчик, выросший, словно по мановению волшебного жезла, где-нибудь в углу двора, а я видел себя на лугу (на болоте Пинского), где среди сочной зелёной травы копошилось бесчисленное множество разнообразнейших кузнечиков, кобылок, божьих коровок, жучков, паучков, мотыльков, букашек, мурашек, козявок – словом, всего, что на всяческие лады бегало, прыгало, скакало, ползало, порхало, летало, радуя глаз и заставляя душу замирать от восторга. У отца сарайчик постепенно наполнялся сосновыми брёвнами, тёсом для строительства дома, а моё воображение уносило меня в лес с его таинственным зелёным шумом и птичьим гомоном или на речку с её тихими заводями и песчаными отмелями, где можно было сколь-

ко душе угодно барахтаться вместе с другими ребяташками в воде, поднимая тучи брызг и оглашая окрестности дикими криками, визгом и хохотом, которые самопроизвольно вырывались из груди, не желая сидеть внутри тела, когда вокруг было столько света, воздуха, красоты и простора.

К счастью, мы недолго прожили на дне описанного мной оврага, и вскоре (уже не помню, в силу каких причин) переехали в один из окраинных районов Киева, именовавшийся в те времена Шулявкой, на Борщаговскую улицу № 70. Почему-то мне запомнился этот номер: может быть, потому, что число было круглое, то есть заканчивающееся нулём. Дом здесь был тоже одноэтажный, и квартиры были устроены по тому же принципу, что и на Глубочицкой улице, то есть сначала сени, потом полутёмная кухня с окном, выходящим в сени, потом комната. Разница заключалась в том, что и сени, и кухня, и комната были немного просторнее. А главное, не было торчащей под самым носом и закрывавшей доступ свету стены оврага. Выйдя из сеней, теперь уже можно было увидеть не подножие обрыва, а невысокий деревянный заборчик, за которым весело зеленел сад: яблони, груши, сливы, вишни, кусты смородины и малины. В комнате было два окна, выходивших во двор (дом стоял во дворе). Под окнами росла большая черёмуха. Весной она зацветала так пышно, что казалось – это уже не дерево, а белое облако, каким-то чудом опустившееся на землю. Летом всё дерево было осыпано тёмно-синими, почти чёрными ягодами вели-

чиной с горошину, которые мы поедали в огромных количествах. А зимой... О! Зимой было самое интересное, потому что на черёмухе в это время года бывали частыми гостями снегири. Их хорошо можно было разглядеть, если забраться на подоконник и прижаться лицом к стеклу так, чтоб видеть верхние ветки дерева. Много лет прошло с тех пор, но я и сейчас очень легко представляю себе эту сказочную картину. На ней лишь одни голые, корявые тёмно-серые ветки черёмухи, опушённые сверху белым снежком, а на ветках сидят красногрудые птички.





Милые друзья моего детства, мои милые снегири! Как я мечтал поймать хоть одного из вас и держать дома в клетке! Я воображал, что был бы самым счастливым человеком на свете, если бы мне подарили вдруг снегиря. Но моё детство так и прошло без снегиря. Никто никогда не дарил мне ни снегиря, ни какой-нибудь другой птички в клетке. Но я не жалею об этом. Я даже рад, что никогда не сажал вольную птицу в клетку, не держал её взаперти, в то время как она могла летать и наслаждаться свободой.

И не знаю сейчас уже, испытал бы я полное счастье в те времена, если бы стал вдруг обладателем снегиря. Но зато хорошо знаю, что был самым счастливым человеком на свете именно тогда, когда смотрел на моих любимых пичужек из окна и предавался своим мечтам.

# Первые двойки

Обычно, возвратившись из гимназии, мы с братом обедали, потом садились делать заданные на дом уроки, после чего отправлялись гулять. Но однажды, после обеда, когда мы уже вышли из-за стола, а мать была чем-то занята в кухне, брат сказал, не разжимая зубов и с каким-то индифферентным, то есть ничего не выражающим, выражением на лице:

– Пойдём гулять.

– А уроки делать когда? – спросил я.

– А уроки сегодня не будем делать, – с тем же невозмутимым видом ответил брат.

– А вдруг завтра спросят? – высказал опасение я.

– А может быть, и не спросят.

В этом ответе чувствовалось какое-то разумное основание. Ведь в гимназии было совсем не то, к чему мы привыкли, занимаясь с Павлой Аполлинариевной, которая каждый раз проверяла, сделали ли мы задание на дом. Но если у Павлы Аполлинариевны нас было всего двое, то в гимназии, в классе, было около сорока учеников. Конечно, учитель при всём желании не мог на каждом уроке опросить всех учеников. Это мы, безусловно, скоро заметили, и мой сообразительный брат пришёл к совершенно логическому умозаключению, что если учитель не каждый день спрашивает уроки, то можно не каждый день и учить их.

Мы потихоньку оделись и двинулись через кухню к выходу. Мать, конечно, увидела наш манёвр и спросила:

– Куда же вы? А уроки учить?

Этот вопрос застал нас врасплох, но мой находчивый брат и тут не растерялся.

– Нам сегодня ничего не задано! – закричал он, успев выскочить в сени.

– Нам сегодня ничего не задано! – закричал я ликующим голосом, проскакивая боком сквозь дверь вслед за братом.

Я нарочно кричал ликующим голосом, чтоб мать видела, как я радуюсь по поводу того, что нам ничего не задано. Эта уловка, очевидно, подействовала, и мать не стала задерживать нас.

Мы прогуляли до вечера, а на следующий день, к счастью (может быть, вернее было бы сказать – к несчастью), никто из учителей не спросил нас. Опыт, как говорится, удался, и мы стали его повторять. Не каждый день, конечно, так как в этом случае мать догадалась бы, что мы её обманываем, а с промежутками. Однако теперь, когда мы садились за уроки, то выполняли их не целиком, а только наполовину или процентов на тридцать пять. Если мать спрашивала, почему мы так быстро сделали уроки, то мы отвечали, что сегодня нам мало задано.



Результаты такого отношения к учёбе не замедлили сказаться на нашей успеваемости. В тетрадях у нас и в дневниках запестрели двойки и единицы. Я научился, как при-



нято говорить, хлопать глазами, то есть молча стоять на виду у всего класса, когда учитель вызовет к доске и велит отвечать урок. В такие моменты мне было, конечно, стыдно, но я полагал, что это от непривычки, а когда я попривыкну, то перестану стыдиться своей нерадивости, глупости, тупости или неспособности к учению (не знаю, какое слово тут лучше употребить), и тогда всё будет хорошо.

В конце концов родители всё же заметили, что по части учения дела наши идут далеко не блестяще. Теперь по возвращении с работы отец время от времени устраивал нам проверку, в результате которой обнаруживалось, что задачки по арифметике решены нами неправильно или даже вовсе не сделаны. И в том и другом случае мы оправдывались тем, что задачи трудные и мы не знаем, как их решить. Приходилось отцу объяснять нам, но для этого ему самому сначала надо было понять, как сделать задачу. Однако задачи попадались подчас такие, что и ему были не по зубам. Он подолгу просиживал над задачкой, морщил лоб, хмурил брови, сердито сопел носом и на чём свет стоит проклинал составителей задачника, которые придумывают для детей такие задачи, что и взрослый не может решить.

К его чести нужно сказать, что он всегда додумывался до правильного решения. Но это была только половина дела. Вторая половина заключалась в том, чтоб растолковать нам, как сделать задачу, но тут у него, нужно прямо сказать, совсем ничего не получалось. Не могу припомнить, чтоб я хоть

раз понял что-нибудь в его объяснениях. Обычно, объясняя, он нервничал, горячился, кричал, удивляясь, как это мы не понимаем того, что ему было совершенно ясно. Ему почему-то казалось, что чем громче он будет кричать, тем нам будет понятнее. Результат же получался противоположный. Я лично настолько шалел от этого крика, что терял способность соображать и уже даже не пытался понять задачу, а отвечал наобум, если отец задавал какой-нибудь вопрос. Услышав неправильный ответ, отец ещё больше ярился, стучал по моему лбу указательным пальцем и кричал:

– Думать надо! Думать, а не болтать чепуху! Вот слушайте ещё раз задачу.

И он снова, не знаю в какой раз, начинал громко читать задачу про какого-нибудь купца, который купил столько-то пудов муки первого, второго и третьего сортов, причём муки первого сорта было на столько-то меньше, чем муки второго сорта, и стоила она на столько-то дороже за пуд, чем мука третьего сорта, а муки третьего сорта было на столько-то больше, чем первого сорта, и стоила она на столько-то дешевле за пуд, чем мука второго сорта. И спрашивалось, сколько денег заплатил за всю купленную муку купец, если известно, что за муку третьего сорта он заплатил столько-то рублей.

Прочитав задачу, отец делал паузу, чтобы дать нам подумать, и спрашивал:

– Что нужно сделать?

– Помножить, – отвечал брат.

– Что помножить?

Брат называл число, выражавшее общее количество пудов муки, и число, обозначающее стоимость муки третьего сорта.

– Ну и что будет? – с иронией спрашивал отец.

– Нет, поделить, поделить, – поспешно отвечал брат, видя, что не угадал.

– Ну и что будет? – с той же иронией спрашивал отец.

– Не знаю, – пожимал брат плечами.

– Вот и балбес! Не знаешь, а говоришь! Что же будет, если ты станешь делить всю муку на стоимость третьего сорта? Что нам известно?

Мне хотелось сказать, что нам ничего не известно, но неверным ответом я боялся навлечь на себя гнев родителя и поэтому помалкивал. Видя, что мы оба молчим, отец сам отвечал на свои вопросы:

– Нам известно, сколько всего было муки, – это раз; известно, что муки первого сорта было на столько-то меньше второго, а третьего на столько-то больше, чем первого, – это два; ещё известно, что пуд муки первого сорта был на столько-то дороже, чем пуд второго сорта, а пуд третьего сорта был на столько-то дешевле второго. Известно также, сколько стоила вся мука третьего сорта. Что мы можем узнать? – задавал он очередной вопрос.



Мне хотелось сказать, что мы ничего не можем узнать, но я решил сохранять благоразумие и продолжал молчать.

— Мы знаем, сколько стоила вся мука третьего сорта, — стараясь натолкнуть нашу мысль на верный путь, сказал отец. — Если бы мы знали, сколько стоит пуд муки третьего сорта, то, поделив, могли бы узнать, сколько пудов было третьего сорта. Мы можем узнать цену пуда третьего сорта.

На этот раз мне со всей решительностью хотелось сказать, что этого мы не можем, но отец продолжал:

— Можем! Почему?.. Потому что мы знаем, что пуд третье-

го сорта стоил на столько-то дешевле пуда второго, а пуд второго – на столько-то дешевле пуда первого. Сложив эти числа, мы узнаем, на сколько дешевле был пуд третьего, чем пуд первого, а чтоб узнать, сколько стоил пуд третьего, надо это число отнять от цены пуда первого сорта. Мы не знаем цены пуда первого, но мы можем узнать, так как знаем, сколько было всего пудов муки, и знаем, что первого было на столько-то меньше второго, а третьего – на столько-то больше второго. Если мы сложим эти числа и результат отнимем от общего количества муки, а то, что получится, поделим на три, а к тому, что получится, прибавим, на сколько больше, то узнаем, сколько было пудов муки первого сорта... Отсюда уже нетрудно будет узнать, сколько было второго и третьего сорта, так как мы знаем, на сколько их было меньше...

Нужно сказать, что, когда отец доходил до этого места в своих рассуждениях, я уже переставал представлять себе, что происходит вокруг, и понимал не больше, чем если бы он говорил не на русском языке, а по-китайски. Я сидел словно погружённый в гипнотический сон, от которого меня пробуждал радостный возглас отца, которым он заканчивал свои рассуждения:

– Вот видите – всё ясно! Значит, какой будет первый вопрос?

«Какой будет первый вопрос? Какой будет первый вопрос? – вертелось у меня в голове. – Да убей меня бог на этом самом месте, если я могу сказать, какой будет первый во-

прос!»

Очевидно, у брата было не больше на этот счёт соображений, чем у меня, так как и он сидел, не раскрывая рта. Наше молчание приводило отца в ярость. Он сам говорил, какой будет первый вопрос, и снова повторял все свои рассуждения, а когда доходил до конца, то оказывалось, что к этому времени мы уже успевали забыть, какой будет первый вопрос, и всё приходилось начинать сначала, впрочем с тем же результатом. В конце концов он брал лист бумаги, записывал первый вопрос, производил соответствующее арифметическое действие, потом записывал второй вопрос, повторяя вслух каждое слово, словно вдавливал его в наши головы, опять делал нужное по ходу задачи сложение, вычитание, умножение или деление, записывал третий вопрос, и так до конца задачи. Обычно на этой стадии мы с братом говорили, что всё поняли, и нам оставалось переписать отцовские записи в свои тетрадки, дополнив ошибками, которые были вполне оправданны, если учесть то состояние, в котором мы к тому времени находились.

Спустя несколько лет мне пришлось помогать в занятиях моим младшим сестре и брату, и неожиданно для себя я снова встретился с этим купчишкой, покупавшим пудами муку разных сортов. Я заметил при этом, что в задачнике шли задачи сначала попроще, потом посложней. Сначала купец покупал муку двух сортов, потом – трёх, но в одинаковых количествах, и т. д.

Научившись предварительно решать задачки попроще, мы без особенного труда разобрались и в сложных задачках. Оказалось, вся беда заключалась в том, что, когда надо было решать простые задачи, мы с братом преспокойно гуляли, а когда отец наконец взялся за нас, было поздно. Мы уже очень отстали. Класс за это время ушёл вперёд.

Не понимая, о чём на уроке ведётся речь, я вообще переставал слушать объяснения преподавателя. Мысли мои витали где-нибудь далеко. Я всё больше и больше привыкал к этому витанию и витал уже даже в тех случаях, когда разговор шёл о чём-нибудь вполне доступном моему пониманию. Кризис, таким образом, усугублялся. Развязка приближалась.

# Исключительный человек

Для меня лично всё это кончилось, как принято говорить, плачевно: я остался в приготовительном классе на второй год. Это был первый крепкий щелчок, полученный мной от жизни, заставивший меня поверить, что я в каком-то смысле человек исключительный. На самом деле: исключая меня, все учившиеся вместе со мной ребята были переведены в первый класс. Даже брат мой был переведён, и для меня это было удивительнее всего. Уж я-то прекрасно знал, что отметки у него были ничуть не лучше, чем у меня.

Отцу, который по окончании учебного года побывал в гимназии, сказали, что старшенького, то есть моего брата, перевели в первый класс, а младшему будет полезнее посидеть ещё годик в приготовительном классе, потому что он (он – это я, значит) слишком мал.

Такая акция со стороны гимназического начальства показалась мне крайне непоследовательной и несправедливой. Получалось, что меня оставили на второй год не потому, что я плохо учился, а потому, что был мал. Из этой истории можно было сделать лишь один согласующийся с законами логики вывод: плохо не плохо учиться, а плохо быть маленьким.

О том, что плохо быть маленьким, мне и без всякой логики было известно, так как это я проверил на своей соб-



ственной практике. Ни для кого не секрет, что маленьким не только надо учиться, то есть ходить в школу, решать головоломные задачки, хлопать глазами, когда учитель спрашивал урок. У маленьких сверх того бывают ещё разные обязанности по дому. На мне с братом лежала обязанность носить из колодца воду и ходить в булочную за хлебом.

Ходить в булочную было страшно, так как у её двери постоянно дежурил преогромнейший, ростом с телёнка, рыжий лохматый пёс с толстым, как полено, хвостом и страшной, свирепой мордой, представлявшей собой нечто среднее между мордой дикой свиньи и пятнистой гиены. К каждому, кто выходил из булочной, этот рыжий разбойник бросался и хриплым лаем выпрашивал подачку. Все покупатели уже знали этого попрошайку и, проходя мимо, бросали кусочек хлеба, который он ловил на лету и проглатывал, словно акула.

Меня этот рыжий бродяга, этот сухопутный крокодил, этот, с позволения сказать, «наш четвероногий друг» изводил до такой степени, что я не рад был и жизни. Ему было мало того, что я платил ему обычную дань, то есть, выходя из булочной, бросал кусочек хлеба. Нет! Проглотив подачку, он тут же бросался за мной вдогонку и рывкал у меня над ухом с такой силой, что душа моя уходила в пятки. Чтоб отделаться от моего преследователя, я швырял ещё кусочек хлеба, стараясь забросить его назад, подальше, в надежде, что, пока пёс будет разыскивать хлеб, я успею

удрать. У пса, однако ж, был намётанный глаз и хороший нюх. Он быстро находил брошенный кусок и, проглотив его, снова догонял меня, так что приходилось швырять ему ещё кусок, впрочем всё с тем же результатом.

Так он обычно преследовал меня чуть ли не до самого дома, после чего возвращался обратно к булочной.

Дома дело обходилось без нежелательных разговоров, если продавец отпускал в этот день мне хлеб с довеском. В таком случае можно было израсходовать на моего мучителя довесок, и пропажа не обнаруживалась. Если же довеска не было, приходилось отламывать для собаки кусочки от каравая или буханки. Мать обычно тут же замечала, что хлеб общипан, говорила, что этого нельзя делать, что если я хочу есть, то должен потерпеть до обеда... Если я пытался объяснить, что хлеба не ел, а отдал собаке, то мать говорила, что собаки бояться не надо, потому что она старая и беззубая и никого не кусает, что она вовсе не злая и не страшная. Всё это, впрочем, ни в чём меня не убеждало. Я продолжал бояться собаку, и если бы это от меня зависело, то согласился бы совсем не есть хлеба, лишь бы не ходить в булочную.





Говорили, что эта собака настолько большая и прожорливая, что хозяин не в состоянии накормить её досыта и поэтому она промышляет у булочной по собственной, так сказать, инициативе. Говорили также, что у неё вовсе нет хозяина, что она просто бездомная и вынуждена сама заботиться о своём пропитании. Я всё же думал, что хозяин у неё имелся, так как иногда её у дверей булочной не было, и можно предположить, что в это время она отдыхала дома. Но, может быть, покусав у булочной хлеба, она отправлялась ку-

да-нибудь в мясную, чтоб подкрепиться мясом?

В сущности, для меня было безразлично, отдыхала собака дома или пошла в мясную. Не встретив на своём обычном посту моей мучительницы, я чувствовал себя счастливым... если в этот день мне не предстояло ещё идти за водой.

В те времена в Киеве на таких окраинных улицах, как наша Борщаговская, водопровода вообще не существовало. Воду брали из колодцев, а колодцы имелись далеко не во всех дворах. Ближайший колодец, из которого разрешалось брать воду всем желающим, находился в полутора кварталах от нашего дома. Тащить ведро с водой в такую даль обременительно даже для взрослого, а для ребёнка моих лет и вовсе было не под силу. При своей мизерной комплекции я еле мог дотащить полведра воды, да и то приходил с насквозь промокшими по бокам штанами: проклятая вода выплёскивалась из ведра и я, как ни старался, ничего не мог с ней поделать.

Это, однако, заботило меня меньше всего. Самое трудное заключалось в том, чтоб достать воду из колодца, над бревенчатым срубом которого имелся ворот с наматывающейся на него длиннющей цепью. К этой цепи привязывалось ведро. Первый этап операции состоял в том, чтобы, вращая железную рукоятку ворота, опустить ведро на дно колодца, вслед за чем наступал наиответственный момент: необходимо было сманипулировать рукояткой так, чтоб ведро наполнилось не целиком, а только наполовину (полное ведро

я бы не смог вытащить из колодца). Если эта часть операции проходила успешно, нужно было снова вращать рукоятку, в результате чего цепь наматывалась на ворот, ведро с водой постепенно поднималось, пока наконец не появлялось сверху над срубом колодца. Тут наступал второй ответственный и даже рискованный, я бы сказал, момент. Прекратив вращение, теперь надо было одной рукой придерживать рукоятку ворота, а второй рукой поскорей схватить ведро за дужку, чтоб оно не полетело обратно в колодец. После этого можно было совсем отпустить рукоятку и, уже ухватившись обеими руками за дужку, вытащить ведро наружу.

Выполнять этот манёвр было одинаково трудно как летом, так и зимой, но зимой дело осложнялось тем, что от постоянного расплёскивания воды вокруг колодца постепенно образовывалась ледяная куполообразная гора. Воду приходилось доставать, стоя на вершине этого купола; поскользнувшись же на льду, можно было вполне свободно полететь в колодец с ведром в руках. Этого со мной, однако, не случилось ни разу, и, скорее всего, потому, что работать воротом мне самому приходилось не так уж часто. Обычно у колодца брал воду кто-нибудь из взрослых, и каждый из них охотно наливал мне полведра воды. Если же у колодца никого не было и я, доставая воду, терпел бедствие, что случалось, когда ведро наполнялось целиком и у меня не хватало сил «выкрутить» его из колодца, я терпеливо ждал, пока не придёт помощь. И помощь в виде идущих к колодцу мужчины

или женщины с ведром в руках обычно вскорости появлялась. Спасибо всем этим добрым людям. Это я считаю своим долгом сказать теперь, потому что тогда я, кажется, частенько забывал даже поблагодарить их.

Свет, как говорится, не без добрых людей, и если бы на свете были одни только добрые люди, то я даже не знаю, что было бы! К сожалению, на свете помимо добрых всегда имеется и некоторое количество злых людей. На нашей Борщаговской улице тоже жил один злой человек, от которого мне приходилось много терпеть. Звали этого злого человека Стёпка-растрёпка. Он был на год или на два старше меня и часто ходил мимо нашего дома. Первое время после того, как мы переехали на Борщаговскую улицу, я этого Стёпку не замечал. Мне до него не было дела. И ему до меня не было дела. Каждый из нас был сам по себе. Но на нашей улице напротив нашего дома жили две маленькие девочки. Сейчас я уже не помню, как их звали. А может быть, я даже и не знал их имён. Мне до них тоже, в общем-то, дела не было. Помню, что одна из них была чёрненькая, то есть черноглазая и с чёрными волосами, другая – беленькая. Они играли у себя во дворе, часто выскакивали из калитки на улицу и бегали в палисаднике перед домом.

И вот однажды, когда Стёпка шёл по улице, они высунулись из калитки и, подождав, когда он пройдёт, крикнули вслед:

– Стёпка-растрёпка, Бешеный Огурец!



Стёпка моментально остановился, круто повернулся и бросился к обидчицам. Девчонки, однако, успели захлопнуть у него перед носом калитку и запереть на крючок. Стёпка с разбегу налетел на калитку и тут же отскочил от неё, как футбольный мяч, попавший в штангу ворот. Видя, что калитка заперта, он поднапёр на неё плечом, но, так как это не помогло, он в сердцах стукнул по ней ногой и,



больно ударившись, запрыгал на одной ноге.

Вся эта сильно комическая сцена разыгралась у меня на глазах, а так как я был большой любитель посмеяться, то тут же расхохотался. Услышав смех, Стёпка обратил весь свой гнев на меня.

– А ты тут чего ещё зубы скалишь?! – закричал он и помчался через дорогу прямо ко мне.

Я быстро юркнул к себе во двор, а он, остановившись в калитке, закричал, грозя кулаком:

– Ну, ты ещё попадёшься мне!

И действительно! С тех пор я стал ему «попадаться». Обычно, увидев меня на улице, он бросался за мной в погоню и если успевал догнать до того, как я скроюсь в калитке, то давал мне по шее. Это было обидно и ужасно меня сердило. Не зная, как отплатить ему, я дожидался в бессильной злобе, когда он отойдёт от наших ворот подальше, и, высунавшись из калитки, кричал:

– Стёпка-растрёпка, Бешеный Огурец!

Он же отвечал, что я ещё попадусь ему, что мы ещё встретимся, что он мне покажет и прочее в таком роде. И конечно же оказывался прав. Я не раз улепётывал от него, и успех мне сопутствовал лишь в том случае, когда я был ближе к спасительной калитке, чем он. Если же дислокация была такова, что ближе к калитке оказывался он, то дело не обходилось без подзатыльников и тумачков.

Самая неблагоприятная ситуация для меня возникала, ес-

ли я попадался ему, когда нёс из колодца воду. Поставить ведро на тротуар и вступить в единоборство с ним я не мог, поскольку он был и старше меня, и сильнее. Оставить ведро и убежать тоже было нельзя, так как он мог плюнуть в ведро или просто опрокинуть его и разлить воду. В таких случаях я, насколько мог, убыстрял шаг, стараясь не выпустить из рук ведро, а он спокойненько шёл за мной и отвешивал подзатыльники один за другим, пока в конце концов я всё же не добирался до заветной калитки.

В общем, терпеть от этого Стёпки мне приходилось не меньше, чем от собаки, дежурившей у булочной. Может быть, даже больше. В действиях собаки не было ничего оскорбительного, унижающего моё человеческое достоинство. Собака просто хотела есть и не имела намерения обидеть или напугать меня. Но Стёпка систематически и сознательно колотил и унижал меня. И за что? За то, что я смеялся? Но попробуйте не смеяться, когда вам смешно, и вы увидите, что это так же трудно, как плакать, когда не хочется плакать. Ну и пусть бы я был виноват в том, что смеялся, всё-таки кара за это была неестественно велика. Наказание, так сказать, не соответствовало преступлению.



Стёпка наказывал меня лишь потому, что он мог наказывать, а не потому, что я заслуживал наказания. Допустим, что я был бы такой же большой, как Стёпка, а Стёпка был бы такой маленький, как я в те времена. И если бы я (большой) посмеялся над Стёпкой (над маленьким Стёпкой), разве он мог бы после этого колотить меня? Нет! Пришлось бы ему потерпеть, вместо того чтобы показывать свою власть. Таким образом, вся моя беда заключалась лишь в том, что я был слишком мал.

И вот в довершение всех бед я остался ещё на второй год. И опять-таки, выходит, потому, видите ли, что был «слишком уж мал». Что тут скажешь на это?.. Ха-ха, как говорится! И ничего больше.

# На дне

Люди, не имеющие детей, иной раз больше любят заниматься с детишками, нежели их собственные родители. Родители, должно быть, думают, что с этим ещё успеется, а время между тем потихоньку идёт себе да идёт, ребята вырастают, а тогда чего уже с ними играть? А может быть, родителям и без того надоедает возиться с детишками, так сказать, в силу своих родительских обязанностей? Бездетные же люди имеют какую-то потребность общения с детьми и поэтому не прочь иногда поиграть с ними, пошутить, поговорить на разные темы.



У дяди Володи, очевидно, имелась такая потребность, а поскольку своих детей не было, он любил подурачиться со мной и братом: поиграть с нами в мяч или в снежки, сходить в лес или покататься с горы на санках. К тому же он ча-

сто покупал нам подарки, так как у него всегда были деньги. Вернее, деньги были у его жены Софьи Павловны или, проще говоря, моей тёти Сони, но, поскольку он на ней женился, эти деньги считались всё равно что его, и он начал думать, как бы пустить их в оборот. В конце концов он додумался заняться торговлей и открыл лавку.

В те времена на Галицкой площади (то есть на одной из самых больших киевских площадей) был крупнейший рынок. Как раз в том месте площади, где кончался Бибиковский бульвар, был построен ряд новых деревянных лавок. Одна из этих лавок была дяди-Володина. Купил он её или арендовал, этого я не знаю. Торговля в этой лавке велась дёгтем, колёсной мазью, мелом для побелки стен, коноплёй, просом, овсом, отрубями, жмыхами, мылом – в общем, всем, что могло понадобиться крестьянам, привозившим на рынок продукты своего хозяйства. Кроме того, торговля велась древесным углем, употреблявшимся в те времена повсеместно для жаровен и самоваров.

Держать уголь в лавке было нельзя, так как он всё вокруг пачкал. Весь запас этого товара хранился в специальном амбаре, построенном во дворе позади лавки. Было, однако, хлопотно каждый раз закрывать лавку и отправляться с покупателем в амбар, чтобы отпустить уголь. Поэтому дядя Володя придумал, чтоб на время летних каникул мы с братом по очереди (то есть один день я, другой день он) сидели в амбаре и отпускали покупателям уголь. Он сказал, что это

дело нехитрое, что сидеть в амбаре придётся каждому лишь через день, так что останется время и на гулянье, а между тем мы будем потихоньку приучаться к делу.

Таким образом началось наше великое (как мы его называли потом) сидение в амбаре.

Этот амбар представлял собой огромный погреб или, если выразиться более современно, бункер, то есть наполовину врытый в землю сарай с серым цементным полом и потолком и такими же цементными стенами. В этом бункере имелось лишь одно крошечное, забранное железной решёткой окно, к тому же находилось оно не на обычном уровне, как в домах, а высоко под потолком, как это делается в тюрьмах. Кроме маленького кусочка неба, в это окно ничего не было видно.

Тут же, под окном, то есть на самом освещённом месте, была насыпана куча древесного угля, стоял стул, на котором я мог сидеть, а к железному крюку, прикреплённому к потолку, были подвешены огромные весы с коромыслом и двумя большими медными чашками. На этих весах я взвешивал уголь. При этом поднимались целые тучи мельчайшей угольной пыли, которая оседала у меня на лбу, на носу, на щеках и даже на ушах, так что на сплошь чёрном, словно покрытом сажей, лице у меня сверкали только белки глаз да зубы во рту. Мало того, эта проклятая пыль лезла и в нос, и в рот, так что мокрота, которой я то и дело отхаркивался и сморкался, была чернее самого чёрного дёгтя.

Время от времени ко мне в подвал спускался кто-нибудь из покупателей с записочкой от дяди Володи, на которой было обозначено, сколько угля следовало отпустить. Каждому покупателю я отвечивал требуемое количество угля и от каждого выслушивал какое-нибудь насмешливое замечание по поводу того, что я слишком мал, или что я слишком чёрен, или что я здесь, в этом подвале, словно чертёнок в аду, а уголь у меня, стало быть, для поджаривания грешников. На все эти не слишком разумные замечания я отвечал презрительным молчанием, так как что тут ответишь? Разве моя вина в том, что я был слишком мал, и разве я мог не быть чёрным, если имел дело с углем?

Когда торговля кончалась и я отправлялся домой, прохожие на улице оглядывались на меня и тоже отпускали разные шуточки по моему адресу. А маленькие ребятишки бежали иной раз за мной гурьбой и кричали, захлёбываясь от смеха: – Трубочист! Негритёнок! Страшила! Чучело!

Особенно тягостными были для меня первые дни сидения в этом угольном каземате. Покупатели являлись не часто, поэтому скучать приходилось главным образом в одиночестве. Сидя на стуле, я глядел на кучу угля, над которой в серебристой полоске солнечного луча, падавшего из окна, толклись мириады угольных пылинок. Но мысленно я был далеко от этой кучи. Я был со своими друзьями, которые, как всегда в это время, гуляли в Кадетской роще, купались или удили рыбу в Кадетском пруду. Пруд этот огромный –



целое озеро – был тут же, рядом с Кадетской рощей. Кроме пруда неподалёку имелось ещё обширнейшее болото, по которому можно было путешествовать, прыгая с кочки на кочку или бродя по колено в воде.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.